

MÉMOIRES

DE

Gr. Gerschoum

„ Въ борбѣ обрѣтешъ ты право свое “.

ГРИГОРІЙ ГЕРШУНИ
ИЗЪ НЕДАВНЯГО ПРОШЛАГО

ИЗДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНАГО КОМИТЕТА ПАРТИИ

СОЦІАЛИСТОВЪ-РЕВОЛЮЦИОНЕРОВЪ.

PARIS

TRIBUNE RUSSE

50, RUE LHOMOND 50

1908

TOUS DROITS RÉSERVÉS.

IMPRIMERIE J. NACHIMOVITCH, 35, RUE JACOB, PARIS.

Памяти
незабвеннаго друга и товарища

Михаила Гоца.

Въ минуты скорби и печали,
Во дни сомнѣній и тревогъ
Твой образъ намъ сіялъ
Звѣздою путеводной.



1870 - 1908

Содержание *(оригинал – без содержания)*

часть первая, главы 1-15 - стр. {5}

часть вторая, главы 1-15 - стр. {113}

ИЗ НЕДАВНЕГО ПРОШЛОГО

Часть первая

Петропавловская крепость

{5}

Глава I.

Когда я, после удавшегося побега из Акатуйской каторги, увиделся с товарищами, некоторые настойчиво предлагали: напишите свою автобиографию.

Написать свою автобиографию! Как это звучит смешно и дико! Какой смысл и толк в ней? Кому и для чего она нужна? И как писать ее? В прошлом еще так мало, в будущем чудится так много! Все мысли и думы не о том, что уже пережито, а о том, что еще предстоит пережить. Впереди новая жизнь, и трудно целиком, хотя бы мысленно, вернуться к старой. А главное — бесполезно. Не все ли равно, где, когда, от кого и почему родился, как рос, как протекало детство и пр., все то, чем наполняются автобиографии? Все это удовлетворяет лишь праздному любопытству праздных людей, и не нам, революционерам, этому потворствовать. Интерес имел бы рассказ о революционной {6} деятельности, о наших первых робких шагах, но — об этом еще не наступило время говорить.

Мне пришло в голову другое. Борьба продолжается. Каждый день десятки борцов попадают в руки правительства. Перед ними, большею частью юными, неопытными, впервые очутившимися в таком положении, раскрывается мрачная пропасть. На каждом шагу их ждут козни правительства. Полное одиночество, полная неизвестность. А правительственные агенты, безжалостные, продажные, лукавые плетут сети вокруг своей жертвы. Нет границ их измышлениям, их преступной изобретательности, где вопрос идет о том, чтобы сломить стойкость и мужество революционера.

И когда юный работник начинает чувствовать себя в сетях правительства, он в ужас мечется, стараясь сохранить в себе революционную честь. Давит новизна, необычность обстановки. Кажется, что ты — единственный, вокруг которого скопилось столько туч. И большим облегчением было бы в такие минуты знать, что не тебе одному приходилось все это переживать, что в том же положении бывали и другие, что эти другие находили в себе силы все это пережить и из всех испытаний выйти с честью.

Давно сказано: великое счастье знать наперед {7} всю глубину грядущего несчастья. Испытания в царских застенках мы, революционеры, конечно, считаем не несчастьем, а лишь естественным, неизбежным добавлением, завершающим всю деятельность. Но все же повесть о пережитом и пережитом «по ту сторону жизни» может быть не бесполезной для молодых работников.

Их я имею в виду при набрасывании этих строк. К сожалению, о многом, что было бы очень полезно знать молодежи, еще не настало время говорить. О многом придется умолчать, о многом придется говорить лишь вскользь.

Глава II.

Начну с момента ареста. «То было раннею весной» — 13 мая 1903 года. В партийных кругах после некоторой подавленности чувствовался сильный подъем. Расстрел златоустовских рабочих, потрясший тогда всю страну, не остался безнаказанным. 6-го мая, среди бела дня в городском саду членами Боевой Организации был «расстрелян», как потом выразился на нашем процессе защитник Л. А. Ремянниковой, — виновник златоустовской бойни — губернатор Богданович.

{8} Партия переживала тогда период «строительства». Отдельные лица, целые группы старались завязать между собой сношения. Прилив сил был большой (по тем временам). На

очереди был целый ряд дел. Спешно нужно было сговориться с покойным Поливановым, недавно бежавшим из Сибири, со смоленской группой, выделившей впоследствии такие крупные силы, как Швейцер, трагически погибший при взрыве в гостинице Бристоль, А. А. Биценко и др. Словом, машина в полном ходу.

Я направлялся из Саратова и до Воронежа все колебался: проехать ли прямо в Смоленск или заехать в Киев, где необходимо было сговориться относительно партийной типографии.

Киев я последнее время инстинктивно избегал : у жандармерии были указания о частых моих посещениях, и шпионы были настороже.

Не знаю уже, как это случилось, — пути Господни неисповедимы, я направился на Киев. Чтобы не заезжать в город, дал условленную телеграмму о встрече в дачной местности Дарница (несколько станций от Киева). Прибыл туда — никого нет, кого нужно, но бросился в глаза «тип», революционеру совсем не нужный. Насладившись вдосталь свежим лесным воздухом, со следующим поездом направился {9} в Киев. Не желая вызывать на станции сенсацию — слез на пригородной станции Киев II-й. Гляжу окрест — вдали реют некие, счетом ровно пять.

Для меня или не для меня? Вот вопрос, который, впрочем, решил довольно скоро.

Прошел станцию, двинулся по улице. Чувствую: для меня! Не иначе, как для меня! Оглядываться нельзя. Составляю план отступления: выбрать одинокого извозчика, посулить журавля в небе и целковый в зубы и скрыться. План, в сущности говоря, гениальный, и потерпел участь всех гениальных планов: выполнить его не дали. Только вдали показался извозчик, позади слышу бешеную скачку. Через несколько моментов останавливаются две пролетки, кто-то сзади хватает за руки, чувствую какие-то крепкие объятия, и сразу окружен маленькой, но теплой компанией : пять шпииков и городской.

Кто-то предупредительно берет портфель, двое под руку: извозчик — пожалуйте !

— Поезжай, сообщи ротмистру!

— А вы куда?

— Известно куда — в старокиевский. Поехали в старокиевский участок — ему же {10} бысть жандармским управлением. По дороге начинаю щупать почву.

— Вы чего, собственно говоря, меня арестовали?

— Да так, приказано было.

— Ну, смотрите, как бы в ответе не были: чего-то тут напутали!

— Все может быть! Да только, как нам приказано, так и делаем.

— Да вы-то меня знаете?

— Почему мы знаем? Говорили — приедет кто-то, ну вот и приехали, а там разберут.

Да, уж, пожалуй, что разберут, думаешь про себя, представляя себе картину «разбора».

Едем. Публика подозрительно оглядывается: что, мол, за странная компания? Все по обыкновенному: вывески, лавки, парочки направляются в сады. Странное дело: все время, в течение слишком двух лет старался представить себе момент ареста. Как это будет? Что будешь чувствовать в момент, когда, вот был человек и не стало человека? И все казалось, что чувства будут в этот момент какие-то особенные, какие-то никогда небывалые.

А, между тем, самое будничное настроение. Как ни в чем не бывало!

{11} Только все думаешь: вот он конец-то, как пришел! Как просто!

Глядишь по сторонам: нельзя ли ? Оказывается никак нельзя. Приехали. Старокиевский участок! Привет тебе, «приятный знакомый!» В дежурной околочной. Кругом тихо и пустынно, как в голове министра. Шпики о чем-то пошептались с околочком.

Начинается обычный опрос: кто, как?

— Паспорт?

— Извольте !

Начинается обыск. Из бокового кармана выуживается браунинг. Околочек несколько оживляется.

— Имеете разрешение?

— Нет.

— Ну, знаете, плохо будет !

— В самом деле? Разве уж так строго!

— Нынче очень строго! Помилуйте: особенно браунинг! Без штрафа не отделаетесь!

— Вот оказия-то! А может как-нибудь и пройдет?

— Вот, посидите там, подождите: начальник охраны скоро явится.

Очевидно, не имеют никакого представления обо мне. Сижу. Нельзя ли?... Нельзя!

Шпики, не зная, куда деться, расположились у дверей.

{12} Проходить минут двадцать. Вдруг с шумом открывается дверь, вваливается господин в штатском. Сразу видно — переодетый жандарм. Подлетает вплотную:

— Ваша фамилия?

— Если вы меня арестовали, то вы, очевидно, знаете, кто я?

— Ну, чего там? Сказали бы сразу, без излишней канители!

Не знаю уж, развязный ли его тон или просто много досады накопилось, но незаметно даже для себя, как гаркну: «Вы, сударь, очевидно в кабаке воспитывались! Прощу таким тоном со мной не разговаривать!»

Охранник сделал шаг назад, пристально уставился на меня, да как рявкнет: «Жандармов! Городовых! Охрану к дверям! Вы головой отвечаете мне за этого человека!» бросился он вдруг к совершенно растерявшемуся околodку и, как бешеный, заметался по комнате.

Вот уж именно: ногой топну — из под земли вырастут легионы! В один миг — не успел даже оглянуться — вся дежурная битком набилась жандармами, городовыми, — кто в расстегнутом мундире, кто в блузе, на ходу напяливая шашку — все с удивлением оглядываются кругом: по какому, мол, поводу шум, {13} а драки нет? Беготня по лестнице вверх и вниз, беспрерывно звенит телефон Пошло!...

Так как я все хотел попытаться, что, собственно, послужило поводом к аресту, то раньше всего внес протест против незаконного задержания агентами охраны совершенно неизвестного им человека.

— Да ведь вы такой-то! Мы то, ведь, знаем! Почему бы вам не назвать себя?

— Объясните мне раньше, почему меня ваши агенты арестовали, а потом уж будем с вами разговаривать.

Так ничего друг от друга не добились.

Часам к 11-ти отвели в камеру. Ключ взял себе ротмистр, к дверям приставили жандармов, бессменно стоявших у «фортки».

Ночь на первом, новоселье прошла без инцидентов. Солома жесткая и колючая, клопы злющие . . . Впрочем, наконец, и клопы устали, и крамольник устал : в конце концов заснули.

Днем поставили жандармов в самую камеру. Один — хохол, уже пожилой, другой молодой.

Час-другой с ними не заговаривал. Когда они изрядно соскучились и скулы у них начали трещать от зевоты, затеял беседу.

— А как вы думаете, кому из нас лучше: {14} вам или мне? Я то, по крайней мере, знаю, за что сюда попал; ну, а вы за какие прегрешения?

— Служба ! Известное дело! — оглядываясь на двор, процеживает хохол.

— Ну, хорошо, служба! А подумали ли вы о том, какие такие мои провинности, что вам приказано глаз с меня не спускать?

— Чего думать? Наше дело, панич, маленькое: что начальство прикажет, то и делаем.

— Ну, не совсем уж так оно! Если бы вам приказали накормить, да напоить человека — пожалуй, тут раздумывать не о чем. А когда вас приставляют, чтобы не спускать глаз с человека, которого ваше начальство скоро поведет на виселицу, ужели вы даже не задумываетесь, за что его хотят повесить?

Жандармов передернуло. Подошли ближе, насторожились.

— Слушайте ! Вот вы только подумайте: знал же я, на что иду. Чего же бросил и дом, и родных, и состояние? Не сумасшедшие же мы? Стало быть, для чего-нибудь мы это делаем ? Чего же мы хотим? ...

С час поговорили. Как живой стоит и теперь предо мной этот старый жандарм с черными глазами, покрытыми влагой от душевного {15} волнения, охватившего его, когда с глазу на глаз по-человечески поговорил с «арестантом».

Часам к пяти, слышу, поднялась какая-то возня. Является жандармский офицер — пожалуйста! В коридор, по лестнице жандармов и городских понатыкано тьма тьмущая. Вводят в какую-то комнату, наполненную ими же. Тут же все начальство. В черном сюртуке — прокурор судебной палаты.

— По распоряжению департамента полиции вы будете отправлены в Петербург. Будьте добры раздеться.

Гюго говорить, что палачи при исполнении обязанностей — самые любезные люди. Русские жандармы, когда им предстоит «серьезная» обязанность не менее любезны. Помню, у меня от его изысканного тона даже сердце ёкнуло; что-то затевают — пронеслось в голове.

Посредине стул, вокруг — аксельбанты и эполеты. Раздеваюсь. Остался в одном белье. Тщательно осматривают уже вчера распоротое платье.

— Будьте добры все с себя снять. Снял. Сижу.

Осмотрели. Ничего противозаконного не нашли. Говорят, короли совершают в торжественной {16} обстановке свой туалет. Не понимаю, что хорошего находят в этом.

— Подай чистое белье! Одедся.

— Все? — спрашиваю.

— Да, все! Только видите, г-н Г..., вам придется подвергнуться маленькой неприятности... распоряжение свыше . . . вот телеграмма.. . это не от нас. . .

Седой полковник, смущаясь, путаясь, указывает на какую-то бумагу.

— Что такое, в чем дело?

— Да видите... распоряжение заковать в кандалы...

Является молодой конвойный, приносит кандалы, наковальню, раздаётся ляг кандалов.

Теперь, вероятно, это явление обыкновенное. Но то было в «доконституционное время.» Тогда к этому «еще не были привыкли». Все смущены, сконфужены, у всех глаза опущены или бегают по сторонам: стараются не глядеть друг на друга. Налаживают подкандалники. Примеривают кандалы. Подобрали по мерке. Раздается первый гулкий удар молота по заклепке. Всех передергивает. Глаза опускаются еще ниже. Прокурор усиленно сосет сигару, полковник что-то внимательно {17} рассматривает в окно. Прямо против меня черноглазый жандарм, с которым утром вел беседу. Глаза наши встретились. В его глазах было столько участия и муки, что я почувствовал в нем родную душу. Он был бледен, как смерть. Стараюсь смотреть на него в упор. Конвойный быстро делает свое дело. Молот гулко звучит и удары, кажется, пробуждают совесть даже в этих людях.

— Готово ! Прикажете ручные?

Полковник утвердительно качает головой. Черноглазый жандарм, тяжело дыша, подвигается к стене, стараясь прислониться, но не выдерживает и, очевидно, боясь упасть, медленно, незаметно пробирается к выходу.

Странное чувство охватывает закованного. Высокое, сильное. Вся обстановка приподнимает. Чувствуется дыхание смерти . . . Далеко от земли. . . Ближе к небу . . . В такие минуты самые сильные пытки, вероятно, принимаются с восторгом и переносятся легко. Руки ласково, любовно сжимают железо кандалов, голова склоняется низко, низко и губы невольно прикасаются к цепям...

{18}

Глава III.

В шикарной карете, под эскортом казаков мчимся на вокзал. Объехали полотно дороги и прямо, к великому изумленно стоявшей вдали публики, к вагону. Нам отвели два купэ, вагон потом прицепили к курьерскому поезду и в сопровождении двух офицеров и шести унтеров — в Питер.

Много интересного было в дороге, но все больше из области неудобосказуемого.

По всей линии были даны телеграммы, чтобы жандармы встречали вагон № такой-то. Интересующейся публике говорили, что едет какой-то важный чиновник. Не забуду одного курьеза.

На второй день пути дежурный офицер предложил взять из ресторан-вагона обед. Заказал и распорядился, чтобы подали в купэ. Официант, очевидно, предполагая прислуживать важной персоне, с шиком влетает с серебряным прибором в купэ, где застаёт на кушетке растянувшегося во весь рост джентльмена, скованного по рукам и ногам, под охраной вооруженных жандармов. Ужас его был так велик, что у него все повалилось из рук и некоторое время он не мог придти в себя.

Но потом, оправившись, упорно хотел взять {19} серебро обратно, боясь, что у такого «сурьезного» преступника, пожалуй, чего и не досчитаешься потом. За таковые «несуразные» понятия был дежурным унтером обруган «необразованностью» и деревенщиной татарской.

Вечереет. Офицер, утомленный, сидит в коридоре. Унтера разнежилась и согласилась спустить окошко. В купэ врывается аромат теплого весеннего вечера. Поезд медленно движется по самой живописной местности — около Вилейки. На зеркале воды мерно качаются лодки. Доносятся звонкие голоса молодежи. Разодетые в ярких весенних костюмах барышни машут нам платками. По берегу — густой, зеленый лес. То там, то здесь вырисовываются живописные группки гуляющих. Свежая, сочная трава с веселенькими, как смеющиеся детские глазки, незабудками ласково манит к себе. Негой и весенним теплом веет кругом. Человеческое горе, муки, голод, холод, бесправие, ад угнетения и рабства, созданный в России — все куда-то пропало, как-то исчезло. Жизнь кажется такой красивой, такой манящей. Даже жандармы притихли, очарованные картиной.

Мучительно, неудержимо тянет туда — на волю. В сердце прокрадывается боль. Какая-то щемящая тоска давит грудь. Думы — {20} какие-то тяжелые, неопределенные: не то неясные обрывки воспоминаний детства, не то мутные клочья туманного и тревожного будущего. Из груди вырывается не то стон, не то вздох. Тело вздрагивает, лязг цепи приводит к действительности. Жандарм уныло и как бы безнадежно машет рукой: э-э-эх, жизнь ты каторжная! ...

Но впечатления и настроение меняются быстро. Завтра утром должны прибыть в Петербург. Неужели так и доедем? Неужели ничего не случится? Мысль лихорадочно начинает работать.

Бежать! Во чтобы-то ни стало бежать! Создаешь план побега.

Ночью офицер устанет, будет сидеть в коридоре. Жандармов можно будет опохоть. На подъеме выскочить в окно. А кандалы? Разорвать рубаху, обернуть, чтобы не звенели, захватить шашку, в лесу сбить заклепку.

Ручные кандалы? Мылом! Надо захватить с собой мыла, хорошо намазать кольца — должны слезть. Все обдуманно, все предусмотрено. Унылое настроение, навеянное весенней негой, как рукой снято. Грудь дышит высоко и сильно. Летаешь мыслями бог весть куда. Обнимаешь свободу...

{21} Только бы ночь скорее настала ! Ждешь ночи...

.....
Поезд останавливается на какой-то маленькой станции. Проходит начальник в красной шапке. Манит рукой к окну. Всматриваюсь — дрожь пробегает по телу.

— Михаил, это ты? Как ты здесь?

— Тише! Будь готов! Чтобы ни случилось на этом перегоне — не тревожься. Когда

услышишь : «у нас цветы» — следуй за ними: это наши. Прощай! Скоро увидимся!

— Постой, бога ради, Михаил, объясни, как ты здесь? И почему ты в форме начальника станции? Что все это значит? Как вы так быстро организовались?

Я припал к стеклу, но Михаил, сделав предостерегающий знак рукой, отходить от вагона и дает сигнал к отходу поезда. Сердце бьется, точно в груди молота стучат.

Поезд ускоряет ход, потом летит с невероятной быстротой — очевидно спуск. Потом замедляет ход. Вдруг — что за чорт! Вагон катится назад! Катится с легкостью и бесшумно, как будто оторвавшись от поезда. Через несколько минут замедляет ход. Слышны голоса и команда : шашки-и-и вон ! Лязг шашек. В коридоре слышен зычный {22} голос. «Кто тут начальник конвоя? Почему начальник конвоя не на месте?»

Жандармы вскакивают, протирают глаза, будят дежурного офицера. К купэ подходит грозный жандармский генерал и обрушивается на дежурного.

— Так это вы так исполняете свои обязанности? Это вы так конвоируете государственных арестантов? — Офицер пытается заспанным голосом что-то объяснить.

— Молчать, когда с вами начальство разговаривает! Да знаете ли вы, что злоумышленники отцепили вагон и готовились отбить вашего арестованного, и только благодаря распорядительности моего адъютанта мы сумели разогнать шайку !

Я прислушиваюсь, ни жив, ни мертв. «Готовились отбить арестованного!» Так вот оно что! И все провалилось! Бедный Михаил! Знает ли он уже?

— Вы ваших людей всех знаете? — рычит генерал.

— Так точно, ваше пр-во, люди надежные.

— Надежные! Тут без измены не обошлось. Вы все будете отданы под суд! Осмотреть у арестанта кандалы!

Осматривают — кандалы целы.

{23} — Господин ротмистр, смените старый конвой нашим! Поставьте двойную охрану.

В купэ вваливаются жандармы с обнаженными шашками. Офицер что-то пытается говорить, но генерал снова набрасывается на него, грозить судом, расстрелом. Дверь купэ закрывается. Один жандарм наклоняется ко мне, целует в лоб и шепчет: «у нас цветы». Двое поднимают на руки, подают через окошко стоящим снаружи жандармам, кому-то сидящему верхом на лошади, кладут на коленные, и мы мчимся.

— Узнаешь? — шепчет знакомый голос.

— Ты! Михаил!

— Тише! опасность еще не миновала.

Несемся с быстротой молнии. Вдруг — крики, ружейная пальба.

— Прячься в кусты, — шепчет Михаил, спуская с лошади. Лошадь, раненная пулей помчалась, как бешеная. Вслед за ней пронесся отряд, продолжая стрельбу. Стало тихо. Мы поднялись и углубились в лес. Кандалы мешают двигаться а сбить не удастся. Начинает светать. Руки и ноги сбиты, отовсюду сочится кровь. Томит страшная жажда. Михаил с трудом меня поддерживает. Невероятная тоска охватывает меня.

— Не дойти, друг! Чувствую, что не дойти.

{24} — Скоро, скоро ! Еще немного — и мы у цели, — успокаивает Михаил.

Вдали виден домик. С трудом добираемся. Ореховые деревья, стеклянная веранда.... что такое? Да ведь это наша дача! ... Из комнаты женский голос — «Где он? где он? Да пустите же меня к нему!»

— Мамочка! Ты! Боже мой, я с ума схожу! Да что тут делается? Как я попал сюда?

— Я, я ! Дитяtko мое ! Теперь уж мы не отдадим тебя!

Горячие объятия сжимают меня

.....
— Панич! Да вставайте же, скоро приедем! Что вас никак не добудишься! — ворчал дежурный жандарм.

В окно било веселое, ясное утро. Мы подъезжаем к Петербургу. Офицеры разодеты в парадную форму. Серебро эполет красиво оттеняла лазурь мундира.

Сборы недолгие. Настроение, навеянное сном, быстро переходит в другое — боевое.

Близость встречи с «ними», с «Петербургом» подмывает: схватка близка — и последняя схватка! Впереди рисуется процесс, — первый большой процесс социалистов-революционеров. Народу набрано много и народу хорошего. Все знакомцы {25} и друзья. Мы «им» покажем, как воюют! Бодро, весело глядишь вперед. Первый процесс для революционера — это как первый бал для шестнадцатилетней девушки. Нужды нет, что первый же часто бывает и последним, что впереди виселица: идешь, как на бой, как на праздник. . .

Глава IV.

В таком настроении с большой помпой был доставлен в Жандармское Управление. Ввели в какую-то комнату. Посередине стул: для «бенефицианта». Кругом жандармы. Расположился, жду, что из этого выйдет.

Удивительно в Петербурге вежливый народ! Только к ним приехал, а уж тебе сейчас готовы честь и всяческое уважение оказать. Началось представление deputаций: от корпуса жандармов, министерства юстиции, министерства внутренних дел и пр.

Кандалов не снимали. Для фотографии позировал в ручных и ножных.

— На допрос !

Громяхая кандалами, нарушая общественную тишину и спокойствие, пробираюсь в «допросную». Жандармский генерал и очаровательный {26} Трусевич — тогда товарищ прокурора судебной палаты по секретным делам, ныне волею божией директор департамента полиции. Старый знакомый, но не скажу, чтобы приятный.

— Ваша фамилия — Г.?

— Вам лучше знать. Чем могу служить?

— По закону (! !), — арестованному в течение 24-х часов должны предъявить обвинение. Угодно будет вам назвать себя?

— Нет-с, не угодно. А вот, не угодно ли будет «представителю закона» объяснить арестованному, почему его арестовали агенты, не знавшие его?

— Техника ареста подлежит ведению охраны: мы об этом ничего не знаем. Вы привлекаетесь по обвинению в принадлежности к Партии Социалистов-Революционеров и Боевой Организации, в участии в убийстве министра Сипягина и губернатора Богдановича, в покушении на обер-прокурора Победоносцева.

— Были ведь еще покушения на Оболенского и фон Валя, за одно бы уже! Я могу идти к себе, не правда ли ?

— Тут постановление о заключении вас под стражу; вы подпишете?

— Попробую посидеть без подписи. Авось не высылят.

{27} — Значит, вы от показаний отказываетесь совершенно?

— Да, похоже на то. Прошу в протокол внести мой протест против наложения оков, в чем я вижу акт мести со стороны правительства . . .

До двенадцати часов ночи сидел в жандармском.

В полночь вывели, усадили в карету и под надежной охраной отправились в путь. Подъезжаем к Дворцовому мосту. Ага! Значит в Петропавловку!

Железные ворота. Жандармский офицер отправляется хлопотать, чтобы дали приют. Переговоры ведутся довольно долго. Наконец, ворота открываются — пожалуйста! Проходим через кордегардию, где под ружьем стоят два взвода солдат. Звон кандалов гулко отдается под каменными сводами. Проходим коридор нижнего этажа. Двери камер настежь (В нижнем этаже очень редко держат заключенных, вследствие крайней сырости. До конституционного периода камеры там пустовали.), оттуда несет мраком, холодом и затхлостью. {28} Поднимаются картины застенков. Взбираемся по лестнице и сразу при повороте — пожалуйста!

Маленькое замешательство: по инструкции необходимо раздеть и тщательно осмотреть, а между тем из-за кандалов нельзя снять ни платья, ни обуви. Расковывать же ночью комендант не разрешает, боясь поднять всю крепость. Пришлось ограничиться осмотром карманов и рта.

Через окошко пробивается ранний рассвет петербургского утра. Свеча в железном подсвечнике тускло мерцает. Пахнет сыростью. Камера довольно большая: шесть шагов в ширину и десять в длину. Потолок низкий, сводом. Окошко на самом верху. Прямо против окна, чуть не вплотную — крепостная стена. Серая, полуразвалившаяся (Снаружи крепостные стены облицованы гранитом, и имеют вид зловещий, но все же величественный. Изнутри — мерзость и запустение. Зеркальное отражение самодержавного режима.), в ущелинах пробивается яркая, свежая зелень. Койка, прибитая к полу, железная доска, врезанная в стену и имеющая изображать стол, да клозет — вся обстановка.

Рано утром разбудили. Повели вниз расковывать. С непривычки провозились больше получаса. Отобрали платье, выдали казенное белье, {29} туфли и синий халат — таков костюм. Явился заведывающий арестантскими помещениями — полковник Веревкин — объяснять «права и обязанности».

— Писать родным можно?

— Да, два раза в неделю, только нужно будет ждать распоряжения департамента полиции.

— Свидания?

— Как же, как же! По вторникам и субботам — если будет разрешение от департамента полиции.

— Книги читать?

— Можно, можно! только вот разрешение департамента полиции.

— Пищу улучшать?

— Сколько угодно! вот, от департамента полиции деньги придут.

— А вешаются у вас тут, полковник, тоже с разрешения департамента полиции?

— Заявлений никаких не имеете?

— Нет, не имею ...

Камера моя оказалась знаменитым в летописи крепости — 46-м номером. Это совершенно изолированная с двойным затвором и железным засовом камера. Против камеры сейчас же поставили дежурных жандармов. Акустика такая, что малейший шорох {30} производит сильный шум. Когда в камере перелистываете страницу — слышно в другом конце коридора. В камере холодно и сыро. Топят до июня месяца, а иногда и все лето. Вечный полумрак. С сентября до марта освещения отпускают на 20 часов в сутки и все же приходится еще докупать! Целыми неделями приходится жечь свечи сплошные сутки! (Электричество проведено только в 1904 г. Раньше освещалось керосиновыми лампами, а после истории с Ветровой — свечами.)

Тюрьма помещается в Трубецком бастионе; представляет собою пятиугольное двухэтажное здание, окруженное стенами бастиона; стена выше здания, в расстоянии одной почти сажени, так что свету проходит чрезвычайно мало.

Внутри здания двор, усаженный деревьями. Посреди двора баня. Охрана крепости поручается военному караулу. Внутри жандармы и сверхсрочные унтера, т. н. присяжные. Разговаривать с арестованными строжайше запрещено. Являются в камеру, выводят на прогулку и проч. обязательно вдвоем. Шпионство друг за другом и всех вместе за арестованными необычайное. Обыски в камер почти каждый день, когда водят на прогулку, которая продолжается {31} 12—15 минут. Платье тоже подается только на это время.

Потекли дни тусклые, серые, однообразные. Книг нет, переписки нет, свиданий нет. Мучит все вопрос: каким образом арестовали? Неужели выследили и вся сложная система конспирации, на которую так рассчитывали, оказалась негодной? (Потом уже, по выходе из Шлиссельбурга, мне передавали, что причина ареста будто бы предательство какого-то студента, сидевшего как раз у той дамы, по адресу которой пришла в Киев телеграмма. Студент будто бы разузнал, что телеграмма означает мой приезд и за известную сумму продал это известие жандармам. Идет эта версия из различных официальных источников, но насколько это верно — судить не берусь. Знаю только одно: выслежен не был и жандармерия даже не знала, откуда я прибыл в Киев.)

Что они знают из дела? Кого еще запутали? Кого арестовали? Ни узнать что либо, ни дать знать нет возможности. Являлся несколько раз Трусевич, но так как я наотрез отказался давать показания и просил меня не тревожить — меня оставили.

Прошел месяц, прошел другой. В средин июля приносят платье: одеваться (Там никогда не говорить, зачем вас вызывают: одеваться! И вы, идя с жандармами, не знаете, на допрос ли, на свидание ли, к доктору ли, на очную ставку или на какое-либо другое жандармское применение.)

{32} Приводят в допросную. Смотрю знакомцы: Трусевич с жандармским полковником.

— ?!

— Вам вручается дополнительное обвинение по участи в покушении на харьковского губернатора — князя Оболенского.

— Больше ничего?

— Больше ничего! Обвинение предъявлено на основании показаний и чистосердечного раскаяния Качуры. ..

Внутренне передергивает, но сейчас же успокаиваешься: жандармский фокус! Стараешься сохранять хладнокровие.

Трусевич, желая, очевидно, поразить и вызвать на разговор, пускается в откровенности: под влиянием чего и что говорил Качура, что теперь его «помилуют и значительно смягчат участь» и проч., и проч. Но попутно было упомянуто несколько подробностей, которые они могли узнать только со слов самого Качуры. Мысль работает быстро и мучительно.

Стараешься схватить положение дела: жандармская это ловушка или, действительно, Качура пал? Сопоставляешь мелочи: страшная мысль, как стальная игла, пронизываешь мозг — нет сомнения: это слова и показания Качуры.

{33} В душе поднимается невероятный ад. Мгновение — и все перед глазами поплыло. Делаешь над собой невероятное усилие, и, сохраняя наружное спокойствие, стараешься возможно скорее отделаться от них. В камеру! Скорее бы в камеру!

Гулко гремит засов — ты один. В мозгу поднимается что-то большое, большое, чудовищно безобразное. Точно щупальцы спрута охватывают тебя всего железными тисками и какой-то давящий замогильный холод леденит сердце.

Знаете ли вы, что такое смертельный ужас? Вот тогда пришлось испытать его! Ужас за человека, ужас за сложность и таинственность того, что называется человеческой душой. Давящим призраком стоит: Качура — предатель ! Ум отказывается верить, а не верить — нельзя.

Воображение лихорадочно и тревожно работает, представляя себе те муки и пытки, которые в состоянии были сломить Качуру, и этого крепкого, верного, сознательного человека, кумир и гордость рабочих кружков, превратить в предателя, клеветника и злого оговорщика. Болью и мукой всегда отзывается такое падение революционера. Но когда вы в тюрьме, когда вас ждет тот же неизвестный тернистый путь {34} царских застенков, когда вас собирается поглотить та же мрачная, таинственная пасть российского правосудия, это нравственное падение приобретает для вас особенно зловещий характер.

Он пал, а выдержишь ли ты? Как проверить свои силы? Что сделать, чтобы с уверенностью можно было сказать себе: выдержу! и спокойно идти навстречу злым и преступным измышлениям правительства?

Много пришлось пережить в жизни тяжелых, давящих минут. Но таких мучительных, таких леденящих и опустошающих душу моментов не представлял себе.

Вслед затем для меня выяснился предательский ход Плеве.

Решено было не создавать большого процесса Партии Социалистов Революционеров, а выделить несколько человек, сгруппировать их вокруг террористических актов и создать Боевую Организацию, но всю — без остатка. Общественное значение процесса, это сразу видно было, в виду искусственного подбора, должно было быть ничтожное.

Глава V.

Больше месяца никто не тревожил. В последних числах августа, в шесть вечера,

когда {35} разносится ужин, в камеру открывается дверь. Арестованные имеют у себя большие кружки для кипятку. Когда жандармы разносят миски с ужином, обыкновенно навстречу идешь с кружкой. Слыша, что открывается дверь, в полной уверенности, что это унтер с миской, не оглядываясь, направляюсь с большой кружкой в руках. Не успел оглянуться — ко мне вплотную, с палкой в руке, с быстротой кошки, тревожно впиваясь глазами подсакивает..... Плеве !

Подскочил так близко, точно обнять хотел. Очевидно, мое невинное, с самыми благородными намерениями шествие навстречу с глиняной кружкой всероссийский самодержец понял очень дурно. Несколько секунд мы стояли друг против друга.

Дверь по его приказанию была закрыта, и мы были совершенно одни.

— Имеете что сказать мне? — проговорил он довольно отрывисто.

Так как я его появления совершенно не ждал, и оно было так стремительно »я, вероятно, не сразу сообразил, что ему ответить и отделался только восклицанием — «Вам?!»

Но, должно быть, это одно слово вырвалось слишком выразительно.

{36} Он вылетел также быстро, как влетел. Больше «не встречались», и все рассказы о его посещениях не более, как легенды. Чего ему надо было, так и не узнал, но слышал, что он остался визитом очень недоволен.

Несколько месяцев, к моему великому удивлению, меня больше не тревожили, что не мало тревожило зато меня. Чего медлят? Самое подходящее, казалось бы, расправиться им летом, в мертвый петербургский сезон. Очевидно, вышли какие-то осложнения, но какие? После падения Качуры каждый раз, когда кто-нибудь проходил мимо камеры, сердце застывало: «на допрос», думаешь с трепетом, «опять какое-нибудь предательство! ...»

Прошло лето, прошла осень. Настали дни без света — сплошные сумерки. В полдень без свечи ничего не видно. Граница дня и ночи утеряна. Трусевич не тревожит. Душевные раны начинают понемногу заживать. С неволей свыкаешься. Первое время всякий звук, всякий шорох с воли поднимает, как вспугнутую птицу. Душа рвется наружу и бьется о тюремные решетки. Все мысли там, на воле. Это днем, а ночью — побег. Бесконечные побег, самые замысловатые, самые фантастические. И все кончаются неудачей, и в момент провала, {37} обливаясь потом, с сильно бьющимся сердцем, просыпаешься, чтобы, заснув, снова бежать! (Побег преследуют безнадежно арестованных очень долго — целыми годами. Через два года, когда увиделся со старыми шлиссельбуржцами и проверил свои впечатления, оказалось, что эти кошмары их преследовали лет по 6—10.)

Но постепенно сживаешься. Обретается даже какой-то покой душевный.

Каждый лишний день — ведь, это дар судьбы или вернее нераспорядительности начальства. Так, никем не тревожимый, дотянул до конца ноября, когда дверь камеры открылась и снова принесли платье: одеваться!

Ведут в туже допросную комнату, там тот же очаровательный Трусевич. Парадный, торжественный. На столе фолианты : «дело».

— Дознание по вашему делу закончено и получает дальнейшее направление. Желаете чем дополнить следственный материал?

— Не я наполнял, не я буду дополнять. Заявление принципиального характера пришлю на имя прокурора.

Расстались довольно холодно. Теперь, значить, скоро! «Дело получает дальнейшее направление» — это значит на несколько дней в военный суд, а затем — на тот свет. Конец ноября. К Рождеству, значит, должны {38} кончить. Надо торопиться с принципиальным заявлением, чтобы попало в обвинительный акт. Все время медлил, так как надеялся, что удастся хоть приблизительно узнать, что у них за материал имеется. К делу было привлечено несколько человек, никакого отношения к Боевой Организации не имевших. Очевидно, данные у них какие-то спутанные. Знал, что главным образом строится на оговорах. Если так, то мне неудобно признавать правильность оговора в части, касающейся меня, так как этим косвенно подтверждается «доброкачественность» оговора и по

отношению к другим. Решил выждать, а пока сделать заявление общего характера с объяснением деятельности Партии Социалистов Революционеров и признанием себя членом ее.

Через несколько дней, поздно вечером, уже после поверки, вдруг будят: одевайтесь! Вводят в квартиру полковника (заведующего тюрьмой). Навстречу поднимается какой-то господин в черном сюртуке. Жандармы уходят, и мы остаемся наедине. Мил, любезен, предупредителен и корректен..

— Я к вам по поручению министра внутренних дел. {39}

— ?!

— Вы, конечно, уже знаете, что дело ваше передано в военный суд, вернее военно-полевой суд.

Пауза. Постукивает пальцами по столу.

— Можно говорить откровенно? У вас, ведь, нервы крепкие, не правда ли?

— Да, пожалуйста!

— Приговор по 279 ст. известный и заранее готовый. Вы, ведь, знаете! Но я вам должен прямо сказать: правительство не хочет казни, т. е. вернее, охотно пойдет навстречу отмене казни. Выслушайте меня спокойно. Я хорошо знаю, с кем имею дело и далек от мысли предлагать вам какие-нибудь сделки, откровенные показания и проч. Вы свое дело сделали. Пощадите свою жизнь!

— С какого это времени Плевэ так тревожится и заботится о жизни революционеров ?

— Дело не в этом. Оставим Плевэ в стороне. Скажу вам только, что вы напрасно предполагаете в Плевэ такую жестокость. Повторяю: правительство готово оставить вам жизнь...

— Под условием ? ...

— Да, конечно, под условием. Но чисто формального характера. Вы не давали никаких {40} показаний. Это ваше право. Но это придает специфически оттенок вашему отношению к правительству, оттенок, так сказать, пренебрежительный. Не смейтесь; это так. Повторяю, я не предлагаю вам давать показания. Все, что от вас требуется — подтвердить правильность обвинения, хотя бы в тех пунктах, которые явно несомненны. Признайте себя членом Боевой Организации — больше ничего не требуется, и вам гарантируется отмена смертного приговора. Вы хорошо понимаете, что тут никакой ловушки вам не устраивается: для осуждения вас военным судом вполне достаточно данных и без вашего признания.

— Коротко и ясно: за признание себя членом Боевой Организации вы предлагаете мне такую хорошую плату, как жизнь? Для меня до сегодняшнего дня не ясно было — объявлять себя таковым или нет. Теперь мне ясно: нет!

— Что за странная логика?

— Видите ли: раз, что вы дадите за это признание такую хорошую плату, значит это для вас выгодно. А если выгодно для вас, то для нас убыточно — дело просто. Я еще не знаю, в чем тут дело, для чего вам все это нужно. Или, быть может, вам просто неудобна теперь {41} казнь — не знаю. Но за то теперь я знаю, что для нас удобно и выгодно.

Посланник — он оказался вице-директором Макаровым — часа три упорно доказывал, что «для блага родины, которой вы отдадите свою жизнь» я обязан это сделать и «не лезть в петлю». Покончили на том, что «если в петлю и не лезть, то и карабкаться из нее нет надобности» ...

Этот разговор, вернее предложение, заставил насторожиться. Что здесь нет ловушки, что им не требовалось мое признание для того, чтобы повесить — это было ясно. Значит, им нужно для чего-то другого. Но для чего-то важного, так как плата-то уж больно большая. Ясно, таким образом, что членом Б. О. пока себя признавать нельзя. Надо выждать и быть настороже.

Через два дня поздно вечером та же история. Макаров «в виду близости суда и

развязки считает своим долгом сделать вторичную попытку спасти жизнь».

— Бросим это. Я не хочу вас оскорблять. — может быть, у вас то лично никаких задних мыслей и нет. Но, ведь, вы хорошо понимаете всю безнадежность вашей миссии. Или в самом деле вы так чужды психологии {42}революционера? Хорошо, я против обыкновения буду с вами откровенен: мы столкнулись с вами при таких исключительных обстоятельствах. Кто вас знает — быть может, вы и в самом деле честный человек — семья, ведь, не без уroda! Запомните же, чтобы вам впредь в сношениях с революционерами не терять лишнего времени.

Вы там, в департаментах, конечно, вполне искренно уверены, что мы идем в революцию так себе: кто по увлечению, кто по моде, кто рассчитывая на безнаказанность, кто просто не отдавая себе отчета и проч. Вы не понимаете, что взрослый сознательный человек, порывая со всем прошлым и бросаясь в революцию, продуманно решает вопрос всей своей жизни. Разрывая со старой и входя в новую жизнь — для него вне этой жизни нет ничего. Компромиссы с совестью делались там, в старой жизни. В новой их нет: потому-то в новую и ушел, чтобы избавиться от компромиссов. Ждет ли нас в новой жизни депутатское кресло в парламенте, высылка в Сибирь или виселица — верьте, мы над этим не много думаем, так как себе то приуготавливаем последнее.

Критерием наших действий является одно и только одно — запомните это — благо {43} и интересы трудового народа, в том, конечно, виде, как мы то понимаем, т. е. благо и интересы революции. Критерий действий правительства — прямо противоположный: все хорошо, что плохо для революции. Мы и вы — два непримиримых лагеря. Общих интересов у нас нет и быть не может. Интересы наши враждебны и прямо противоположны друг другу. Стало быть то, что хорошо, полезно, выгодно для вас — дурно, вредно и невыгодно для нас.

— Вам почему-то нужно мое заявление о принадлежности к Боевой Организации — этого одного для революционера достаточно, чтобы таким заявлением не торопиться. Жизнь из рук Плеве, да и вообще из каких бы то ни было «вражских» рук, мы не принимаем.

Есть еще одно обстоятельство. Я еврей. Вы ведь, а равно и те, которые достаточно глупы, чтобы вам верить, твердят, что евреи стараются уходить от опасности, что вследствие трусости избегают виселицы. Хорошо! Вам будет дано увидеть пример «еврейской трусости»! Вы говорите, что евреи умеют только бунтовать? Вы увидите, умеют ли они умирать. Скажите вашему Плеве: торговаться, сговариваться нам не о чем. Пусть он делает свое дело: я свое сделал! ..

{44} Поздно ночью повели обратно в камеру. В длинном сводчатом коридоре какой-то злоеший, давящий полумрак. Тусклые лампы едва мерцают. Клетки, клетки, клетки! ... И все под замком. И в каждой томится юная душа, в этот полночный час обвиняемая призраками, сдавливаемая кошмарами! ... Обитель скорби и печали, проклятье наших дней — когда она, наконец, рухнет! ...

Вот и моя клетка. Тихо колыхается пламя свечи, откидывая громадные тени по стенам. Хлопает дверь, гремит замок. Ты снова один со своими думами, своими сомнениями. Что там — на воле? Что обозначают настойчивые убеждения Макарова? Какие козни они там опять строят? Чувствуя себя окруженным со всех сторон ловушками, стараешься следить за каждым своим шагом, за каждым словом.

Ясно, по крайней мере, одно: скоро все кончится. Через пару дней вручат обвинительный акт, потом «суд». К Рождеству все будет готово. Надо и самому подготовиться....

Глава VI.

Опять поплыли дни. Томительное ожидание и полная, тревожная неизвестность. Очевидно {45} вышло какое-то осложнение, что-то произошло. Но что?! В этой неизвестности прошло слишком два месяца! Потом уже, по выходе из Шлиссельбурга, узнал, что «заминка» вышла по следующей причине.

В нашем деле никаких данных, собранных самой жандармерией, не было. Имелись только оговоры Григорьева и Качуры. По «закону» политические процессы протекают таким образом: (Последнее время, кажется, это «упростили».) сначала производится жандармское дознание. Если по окончании дознания является постановление прокурора судебной палаты о передаче дела в «суд», то предварительно начинается судебным следователем следствие. Наше дело, таким образом, должно поступить к следователю.

Но Плеве высказался против этого, так как вполне естественно боялся, что следствие не сумеет собрать хотя бы малейшие данные, и наоборот, при очной ставке и перекрестном допросе должны рассыпаться все измышления Григорьева и Качуры, в лживости и нелепости которых, конечно, и само правительство не сомневалось. Выход придуман очень характерный для плевенского периода: решено было следствия не {46} производить, а послать в военный суд одно жандармское дознание.

Но тут вышел маленький конфуз. Должно напомнить, что это происходило в «доконституционное» время, когда «суды» еще не обнаглели так, как теперь. Суд, получив дознание, ахнул «от озорства Плеве», как выразился один из членов суда и послал все дело обратно, с предложением произвести требуемое законом предварительное следствие. Это-то и послужило причиной появления у меня Макарова.

Судебному следователю, конечно, дела передать нельзя было, так как оно все рассыпалось бы. Чтобы спасти дело, решено было лучше отменить смертный приговор, но получить мое признание в принадлежности к Боевой Организации. Это, во-первых, склонило бы суд принять дело без следствия, в виду наличности признания, а во-вторых, было бы косвенным подтверждением правильности оговоров Григорьева и Качуры в отношении и в другом обвиняемым.

В поисках выхода дело затянулось. Кончилось в конце концов тем, что г.г. министры промеж себя переговорили и убедили военный суд принять дело с материалом только одного дознания. Но на это потребовалось время.

{47} 4-го февраля приносят платье: одеваться! Я думал, что, наконец, дали свидание и что, быть может, удастся хоть намеком узнать, почему попечительное начальство забыло обо мне. Но ведут не в комнату свиданий (в Петропавловской крепости свидания даются за двумя решетками), а в квартиру заведующего. Неужели личное свидание дадут?

Открывается дверь и в первую минуту ничего не понимаешь, что тут делается. Какой-то чрезвычайно парадный генерал, какие-то чины, статские во фраках ...

Скоро дело выясняется: это председатель военного суда приехал вручить обвинительный акт; тут же защитники; среди них приглашенный с моего согласия Карабчевский. (*«что глаза мои видели» см. ldn-knigi.narod.ru*) Председатель что-то необыкновенно долго и необыкновенно торжественно выясняет, на основании каких «законов» дело передано военно-полевому суду, перечисляет все права подсудимых, причем оказывается, что их необыкновенно много, вплоть до права в течение 24-х часов вызвать свидетелей.

С нетерпением ждешь, когда вся эта комедия кончится и останешься наедине с защитником — единственным живым человеком, не из вражеского стана, имеющим на то право.

{48} После долгих томительных церемоний, дверь камеры захлопывается, и вы остаетесь вдвоем, только вдвоем! (Не считая того третьего, который, конечно, подслушивает у дверей — да сбудется реченное в писании: «где собрались двое во имя мое, там я третий между ними».)

— Плеве еще у власти? Жив?

— Да. Но есть большие новости: вы знаете, что объявлена война?

— Война?! С кем?

— С Японией. Наши крейсера взрываются, мы уже терпим поражения ! ...

— Вторая Крымская кампания? Порт-Артур — Севастополь? Ex oriente lux?

— Похоже на то.

— А как страна, охвачена «патриотическим» угаром, жаждет сплотится с «державным вождем» ?

— Да, не без того, конечно. Но все в значительной степени вздуто и искусственно.

Война непопулярна. Никто ее не ждал и никто ее не хочет.

Странно! Тут, в полутемной камере Петропавловской крепости, так ясно стало сразу то, что неясно и туманно рисовалось впереди переживавшим события в живой жизни. Чувствовалось, что надвигается что-то бесконечно грозное, {49} бесконечно тяжелое, бесконечно скорбное, но что оно сыграет для страны роль того громового удара, который разбудить спящих, разорвет и испепелит завесу, скрывающую перед большинством страны истинную суть самодержавного режима. И когда он обнаружится и станет перед страной в настоящем своем виде, она устыдится и ужаснется перед одной мыслью, во что она верила и на что надеялась ...

Долго все разговоры вертелись вокруг разворачивающихся событий, в сравнении с которыми наше-то «дело», т. е. процесс, кажется таким маленьким, незначущим. Теперь, говорят, Карабчевский поправел и отошел от политической жизни. Должен сказать, что в нашем процессе он все время держался благородно и мужественно. Принятую на себя обязанность быть защитником не личности, а дела, которому эта личность служила — он выполнил добросовестно.

Условились, что я предварительно познакомлюсь с обвинительным актом, а завтра поговорим о деле. От вызова свидетелей со стороны защиты отказался.

{50}

Глава VII.

Обвинительный акт по нашему делу составлялся при особых обстоятельствах и преследовал специальные цели. Предо мной они даже этого не скрывали, так как считали меня человеком «решенным», который все тайны унесет на тот свет; с таким человеком можно быть откровенным и раскрывать перед ним то, что стараются скрыть перед всяким «не смертным». Особенно откровенен был Макаров, да частью и Трусевич, но последний уже из желания уязвить.

Убийство Сипягина, по их собственному признанию, произвело на них впечатление грома.

Все растерялись. Страх и растерянность усиливались полной загадочностью и отсутствием всяких следов. Не смотря на то, что для этого дела были направлены все гении департамента полиции, вкупе с Трусевичем, ничего обнаружить не удалось. Так же безрезультатно для них прошло покушение на Оболенского и уже совсем «скандально» убийство Богдановича, где даже непосредственных исполнителей не удалось привлечь.

Но уже после первых двух актов, как известно, в части революционной литературы {51} старались ослабить впечатление, пытаясь даже доказать, что убийство Сипягина было делом личной инициативы С. Балмашева.

Не будучи в состоянии открыть «корни и нити», ведшие дознание на нетерпеливые запросы и упреки свыше в неумелости, отвечали, что и корней и нитей-то никаких нет, что все это дело, вообще, не стоящее, что все партии против террора, исключая кучки лиц, не имеющих никаких связей с массой. В подтверждение приводились выдержки из некоторых наиболее «доказательных и вполне правильных» антитеррористических статей (Трусевичем была составлена по этому поводу специальная докладная записка, которая приложена к VI тому нашего «дела»).

Так легко уверовать, во что верить хочется! По крайней мере, делать вид, что уверовал. Все старание департамента было тогда направлено на то, чтобы доказать, что террористические акты являются не результатом широко охватившего массы, вследствие правительственных зверств, боевого настроения, которое все более и более должно усиливаться, — а результатом злой воли и озорства нескольких лиц, и само собой разумеется, евреев, излавливающих наивных неопытных юнцов. В «сферах» этот взгляд {52} был сочувственно встречен и — *l'arrétit vient en mangeant*, — невольно явилась мысль, что хорошо бы этот «здоровый взгляд на существо дела» пустить в общество.

Поручено это было «сих дел мастеру» — Трусевичу. Обработали и соответственно наставили Григорьева и Качуру, продиктовали достодожные, «чистосердечные» показания и сфабриковали из них обвинительный акт, который предполагалось напечатать в Правительственном Вестнике. «Сферы» заранее предвкушали поражение крамолы и ликовали. Но на суд сейчас же с несомненностью обнаружилась вся лживость и вздорность показаний Григорьева; Качура из своих показаний многое взял обратно, словом, ясно стало, что не все так просто, как выставляет департамент полиции, и что если ничего не обнаружено, то, быть может, только потому, что «нити и корни» хорошо были скрыты, а Качура и Григорьев то толком ничего и не знают.

Мнения насчет напечатания обвинительного акта разделились. Еретики говорили, что как бы конфуз не вышел и «разоблачение» не кончилось тем, что на казенный счет будет напечатана нелегальщина. К этому в конце концов склонились все и решено было не только не оглашать обвинительного акта, но вообще умолчать {53} о всем деле; в результате — единственный в своем роде финал: не был даже напечатан приговор!

Таково значение и характер обвинительного акта с одной стороны. С другой он представлял собой живой и яркий документ падения слабой человеческой души, когда она, охваченная желанием вырваться на свободу, смягчить грозящую ответственность, попадает в опытные руки г.г. Трусевичей, умело и быстро опутывающих свои жертвы со всех сторон и превращающих их в лжецов, клеветников и предателей. Но при всем том легко себе представить то невероятно тягостное впечатление, которое должен был на первых порах произвести обвинительный акт на тех, против кого он был направлен.

Ни одно дело, ни один крупный процесс не обходится без предателей. В делах, где впереди виднеется виселица, по-видимому, нельзя добиться, чтобы все одинаково стойко дошли до конца. Но как бы вы теоретически ни знали это, все же ничто не может сравниться с мукой, когда в вашем деле оказывается предатель.

Как жандармерия ни старалась скрывать все свои хитросплетения, носящие название «дознание», оказалось, что и для них «них ничего тайного, {54} что не стало бы явным». Лопухин и Трусевич уверяли, что если я не буду давать показания, то с актами дознания не ознакомлюсь. Но когда после вручения обвинительного акта, я перешел в ведение военного суда и послал заявление, что желаю просмотреть «следственный материал», последний немедленно был доставлен. Семь громадных томов! Боги, чего, чего только там ни наворочено. Вот уж подлинно — «тут есть все, коль нет обмана». Даже член суда, показывавший «дело», не мог удержаться от улыбки и безнадежно махал рукой, когда перелистывал «следственный материал».

Тут же ознакомился с «покаянными чистосердечными показаниями» Качуры. Записка писана не его рукой, но им подписана (Качура хорошо грамотный, писал даже стихи). Стиль правительственных опровержений. В первом же показании из Шлиссельбургской крепости уже называет меня настоящей фамилией, хотя дальше сам же указывает, что даже клички не знал.

Целый ряд совершенно нелепых и бессмысленных показаний о людях и группах, с которыми никогда не встречался и о деятельности которых не имел никакого представления.

Такой же характер, но еще более сумбурный, носили показания Григорьева, занявшие до 100 {55} листов мелко исписанной бумаги. В обоих были ответы решительно на все и обо всем, что делалось в партии. Но так как эти люди о ⁹/₁₀ партийной деятельности не имели никакого представления, то совершенно ясно, что это гениальный Трусевич вопрошал, и сам же ответ держал.

Легко себе представить, какой получился «богатый» материал. Но, увы! Гений поплатился за свою жадность. Он от их «чистосердечных» показаний столько хотел получить, что в конце концов последние потеряли даже для департамента полиции всякую цену, невероятно запутав все и вся.

Суд был назначен на 18 февраля. Чтобы не возить взад и вперед из военного суда, заседания были перенесены в помещение окружного суда; а нас решено было перевести в предварилку.

Утром 17-го подали одеваться. Под сильной охраной вывели за ворота. Там пять карет. У каждой по офицеру и двум унтерам. Захлопнули дверцы, опустили шторы и поехали на суд скорый, правый и милостивый.

{56} Приехали в предварилку, которая после крепости показалась раем. Поместили в нижнем этаже, в изолированном коридоре, камера №25.

Надо готовиться к битве. Выше уже упомянул, что когда дело перешло от жандармов к прокурору судебной палаты, мною было послано на его имя для приобщения к делу и внесения в обвинительный акт заявление принципиального характера о деятельности Партии и о роли в ней террора. В обвинительном акте говорится коротко: такой-то от показаний и объяснений отказался. Когда я при ознакомлении с делом выразил желание увидеть мое заявление, член суда с недоумением заметил, что никакого заявления у них в бумагах нет. Департамент полиции, очевидно, не переслал. «Это с ним бывает, — едко заметил он, — очевидно не по нраву пришлось.» Я решил главную часть заявления ввести в свою речь (Весной 1906 года это заявление кем-то было выужено из архива и напечатано в журнале »Арабески), но говорить эту часть не пришлось, так как на суде уже председатель заявил, что заявление прислано и имеется в деле.

Днем явился помощник Карабчевского Б. Т. Барт (сын Г. А. Лопатина), условились относительно завтрашнего дня.

{57} Настал, наконец, и он — этот долгожданный день. Утром ввалилась целая ватага надзирателей и помощников. Обыскали самым тщательным образом. В коридоре какая-то суета, хлопают двери. Из коридора кричат: «25-ый веди.»

— Пожалуйте !

Вывели в коридор, повели мимо совещательных комнат в коридор, соединяющий предварилку с судом.

Десять жандармов в парадной форм, выстроившихся в ряд, несколько офицеров. Ставят между жандармами. С краю стоит уже Вайценфельд. Так вот, кто это! Я по фамилии его не знал и никак не мог догадаться, кого это Качура оговорил и выставил своим искусителем.

В прошлом году раз встретился с ним по делу екатеринославской типографии. К Боевой Организации, насколько я знал, не имел никакого отношения. Вайценфельд стоял между жандармами бодро, закинув голову назад. Только мы с ним поздоровались — ведут Л. А. Ремянникову. За нее особенно все время болела душа. Это была скромная работница, молча, незаметно готовая отдать свою жизнь делу. В Боевой Организации не участвовала, но негодяю Григорьеву, а особенно его жене **{58}** почему-то вздумалось наплести на нее ряд неблиц, и ее привлекли к делу, с угрозой, по крайней мере, Шлиссельбурга. Держалась все время стойко и мужественно. Вот и Григорьева ведут. Глаза смотрят в сторону, лицо бледное, тревожное.

Конвой выстраивается. Раздается команда: «Шашки-и-и вон!» Раздается лязг шашек, от которого невольно вздрагиваешь.

«Напра-аво-о!» «Ша-аго-ом марш!»

Гремит глухая железная дверь, открывающая ход в узкий темный коридор, ведущий в зал заседаний. Под сводами гулко отдаются многочисленные шаги, звенят шпоры.

Весь громадный коридор наполнен жандармами, полицией и шпионами. Проходишь точно сквозь неприятельский строй, но пленником себя не чувствуешь.

Конечно, процесс испорчен; но все ж «душа кипит и к бою рвется». Летишь мысленно туда, в эту залу, где скоро встретишься лицом к лицу с этой державной кликой. Слова, отравленные жгучим ядом народной ненависти, бросишь им в лицо и громко скажешь им то, **{59}** чего они слушать не хотели, когда мы говорили там, на воле.

Здесь они в наших руках, здесь мы заставим их слушать! Настроение поднимается

все выше и выше . . . На скамью поднимаешься, как на трибуну.

Начинаешь оглядывать зал. Рядом с нами — защита. Против нас, на местах присяжных заседателей разместились «чины». В зал жандармы, жандармы и жандармы. Ни одного осмысленного, ни одного вдумчивого лица. Ни сочувствия, ни ненависти, ни злобы. Просто любопытство: вялое, холодное любопытство обывателя.

В душу прокрадываются пустота и уныние. Настроение начинает падать. И это-то враги? С ними-то тут воевать? Словом выяснять нашу правоту?

Перед вами холодные, равнодушные люди, по долгу службы пошедшие на «суд» и мечтающие только о том, чтобы как можно скорее все это кончилось. Как тут говорить? Перед кем тут говорить?! ...

Начинается глупейшая, бесконечная военно-юридическая комедия. Председатель — барон Остен-Сакен священнодействует. «Судьи» скучают и рисуют лошадок. Прокурор — бессмертный Павлов — сидит, как изваяние, с {60} опущенными ресницами, но зорко изпод них, как тигр, следит, чтобы не упустить добычи и во время наброситься на противника.

Неимоверных усилий требуется, чтобы заставить себя принимать участие в деле. К языку точно гири привешены и с громадным трудом выжимаешь из себя слова. Легко говорить перед друзьями, легко говорить перед сознательными врагами. Но эти мундирные, холодные души — какая это мука перед ними говорить!....

Глава IX.

Все обвинения опирались, главным образом, на показаниях Григорьевых и Качуры. Григорьев производил даже на «чинов» жалкое впечатление изломанного, исковерканного в руках жандармерии человека. Большую часть оговоров, припертый к стене, сейчас же брал обратно и если б не его злой гений-защитник Бобрищев-Пушкин, упорно заставлявший его поддерживать свои оговоры, он чистосердечно сознался бы, что все это сплел по глупости, по трусости и под давлением жандармерии.

Боле злостной и отвратительной была его жена — Юрковская, все время корчившая из себя кающуюся Магдалину. Вольтер прав: Когда {61} женщина падает, она падает всегда ниже мужчины. Ее упорное старание потопить Л. Ремянникову произвело даже на судей отталкивающее впечатление. Изумительно нагло самообладание и хладнокровие этой женщины: ведь она знала, что одного нашего слова достаточно было, чтобы разрушить все ее рассказы и посадить ее на место Ремянниковой. Но она не даром выросла в революционной семье (Отец ее поляк, сосланный за восстание 63-го года. Вся семья очень приличная.) — она знала, что революционеры не платят предателям тем же оружием и смело давала свои «показания». На суде выяснились любопытные приемы жандармерии, к которым она прибегает, когда нужно кого-нибудь толкнуть на путь предательства. После ареста Григорьева, Юрковская некоторое время держала себя прилично. Сама прибежала к Ремянниковой, жаловалась, что очень боится за него, как бы по глупости и из боязни одиночки не напутал чего.

Жандармы и, главным образом, Трусевич, с одной стороны грозили Юрковской арестом, а Григорьеву доказывали, что он должен повлиять на нее, чтобы она тоже давала откровенный показания. Для этой цели их оставляли наедине и давали такие «удобные» свидания, что в феврале {62} 1904 г., т. е. через год после ареста, Юрковская родила. Приемы недурные!

Как известно, показания Григорьевых, если откинуть все их противоречия, явные несообразности и нелепости по отношению к целому ряду лиц, которых они даже никогда не встречали, сводятся к следующему.

Офицера Григорьева завлекли, искусственно взвинтили и тем заставили принять участие в террористических актах. Она, Юрковская, из привязанности и любви к своему мужу и из отвращения к насилию, вообще, конечно, всячески старалась мешать козням искусителей, пока, наконец, совершенно не порвала с ними.

Теперь это уже «дела давно минувших дней». Григорьевы, вероятно, в жандармерии свои люди, да и все прошлые «грехи» давным-давно прикрыты амнистиями.

Теперь, без боязни повредить им, можно поднять маленький уголок завесы, которая до поры до времени давала им возможность укрываться. Вот, в коротких словах, истина об этой, до сих пор оставшейся темной истории.

Григорьев с целой группой своих товарищей-офицеров был рекомендован, как «сочувствующий». При ближайшем знакомстве с {63} ними, группа эта оказалась совершенно никчемной, типично «офицерской», и ее забросили.

Григорьев тем временем перебрался в Петербург, в академию. С ним завели сношения, имя в виду использовать его для распространения литературы среди офицеров-академистов. Этим он и занялся. Этим его деятельность ограничивалась. За все время приготовления акта 2-го апреля, Григорьев не имел об этом никакого представления и никакого участия, хотя бы косвенного, в этом не принимал. Григорьева, правда, постоянно указывала, что она вообще никакой революционной работы не признает, кроме террора, что на это она бы с готовностью и охотой пошла. Их участие, если только это можно назвать участием, началось позже — с 3-го апреля, при следующих обстоятельствах.

Как известно, одновременно с Сипягиным 2-го апреля должен был быть убит Победоносцев. Ровно в час Сипягин приезжал в Мариинский дворец, а Победоносцев выезжал из Синода. К первому должен был направиться молодой адъютант от Сергея, ко второму старец генерал флигель-адъютант. Благодаря одной из совершенно нелепых случайностей, так часто рушащих самые сложные {64} конспиративные планы (Телеграф перепутал две буквы фамилии адресата телеграммы, которой назначалось свидание к известному часу. Телеграмма, вследствие этого, не была получена.), с «флигель-адъютантом» не встретились. Откладывать предприятия нельзя было, так как 2-го было последнее собрание комитета министров, и Победоносцев ушел от верной смерти. И в то время, как весь Петербург ликовал по поводу удачного акта Степана Балмашова, организация испытывала муки нелепого провала — победоносцевской неудачи.

3-го апреля я решил выехать из Петербурга и отправился к Григорьевым за моими дорожными вещами, которые находились у их знакомых. Это было под вечер. Как только вошел к ним — Григорьев бросается поздравлять с «удачей». Юрковская мрачна, как ночь.

— Вы чего это, по Сипягине скорбите?

— Не по Сипягине, а по себе... Я ведь все время с вами серьезно говорила, думала, если будет дело, то мне поручать. . . Почему же от меня скрыли и не доверили мне это сделать?... А я так надеялась, так жила этим. . .

Она говорила таким надорванным голосом и казалась такой убитой, что невольно внушала к себе жалость и участие. Я начал ее успокаивать, доказывать, что такие дела не делаются {65} так просто, что ее разговоры я считал ни в чем не обязывающими, что вообще я к этому делу прямого отношения не имею и проч. . .

Юрковская ничего слушать не хотела. Она ждала, она надеялась, а теперь все ее надежды пропали! Но если ей не хотят помочь, то она сама все устроит: она твердо решила совершить террористический акт. — Сначала я не придавал ее словам особенного значения, стараясь все успокоить ее. Но видя, что она упорно стоит на своем, начал серьезно ее расспрашивать, что же, в сущности, она намерена делать?

— Я решила совершить террористический акт; если мне не помогут — сделаю все сама, — твердила она.

— А вы что на это окажете? — обратился я к Григорьеву, все время находившемуся здесь же.

— Мы решили идти вместе.

— Как, и вы?

— Да, что ж, уж так вместе, оно лучше !

— Да что вы, господа, шутите, или вы это серьезно? Нельзя же, в самом деле так, ни с того, ни с сего ! ...

— Мы решили твердо, прервала Юрковская... Из организации все разъехались,

поговорить не с кем было. Люди хотят идти, рвутся {66} напролом. Оставить их так — пожалуй, еще глупостей наделают. Их дело — пусть идут: не маленькие!...

Я еще раз выставил перед ними всю серьезность задуманного ими предприятия, предложил хорошо взвесить свои силы и решение, но они упорно стояли на своем: «Нам ничего не нужно, только пусть помогут нам советом и средствами» твердили они.

Вот подлинная сцена, происшедшая в вечер 3-го апреля, которую Юрковская на суде выставила в таком виде, что когда она вошла в комнату, я убеждал Григорьева идти стрелять в Победоносцева, а он отговаривался — «мать, сестра маленькая у меня»...

Так пишется жандармская история. Решено было, что они выйдут завтра в день похорон Сипягина. Он в форме офицера, она — гимназистиком. Он должен стрелять в Победоносцева, а когда на место происшествия явится градоначальник, Клейгельс, она незаметно проберется и выстрелит в него.

Наскоро приобрели гимназический костюм, револьверы, привели все в порядок, сожгли все письма, записки, что отняло очень много времени. На завтра, под вечер, явился к ним разузнать о происшедшем. Оказалось, {67} Победоносцева не видели, — или его не было, или не удалось пробраться к нему. Я заявил, что завтра уезжаю. Григорьевы начали просить, чтобы их не оставлять одних, что им очень тяжело в офицерской среде, чтобы им по крайней мере указали, где они могут доставать литературу. Вместе с тем заявили решительно, что плана покушения на Победоносцева не оставляют.

Больше я с ними до суда не виделся. Настоящих, деловых сношений с ними больше не поддерживали. Правда, бывал у них некоторое время один господин, который за чаем вел с ними разговоры о разных планах; строили они сообща фантастические нападения на Плеве, вплоть до огораживания улицы, по которой Плеве проезжал, колючей проволокой, но, конечно, ни та, ни другая сторона серьезно этих планов не принимала: это были лишь «мечтания» . . .

Осенью окончательно было решено изолировать их от конспиративной атмосферы. Юрковская выразила желание учиться и поступить в медицинский институт. Ей было дано 50 р. для взноса платы за слушание лекций, доставили уроки, словом, старались пристроить. За все это они и отблагодарили клеветой и грязью.

На суде Григорьев свое предательство объяснил довольно чистосердечно: он был {68} арестован по оговору товарища-офицера Васильева и привлечен за «участие в военном заговоре». Желая выкарабкаться и убедить жандармов в искренности своих слов, он решил рассказать им историю своего участия в покушении на Победоносцева и Плеве, предполагая, что за это ему отвечать не придется, так как де, это дело прошлое. Мне же это повредить, по его мнению, не могло, так как он считал меня за границу. Дав первое наивное показание и попав в руки Трусевича, он и нагородил потом 100 листов нелепостей, которых сами жандармы не могли распутать.

Глава X.

Совсем другое впечатление производил Качура. Момент его появления был потрясающий и глубоко захватывающий по своему трагизму. Он появился в арестантской одежде, под охраной двух жандармов с обнаженными шашками и сразу уставился на скамью подсудимых. Казалось, он был поражен тем, что видит нас здесь, на суде. Взор его выражал скорбь и не то сожаление, не то упрек.

Все замерло. Минута-другая прошла в глубоком молчании. Трагедия, разыгрывающаяся в {69} его несчастной душе, казалось, придавила всех. Несколько раз председатель взволнованным голосом пробовал окликнуть его: «Качура ! Качура !» — но тщетно.

Наконец, он глубоко вздохнул и спросил: «что ?»

Председатель предлагает ему рассказать все, что он знает по этому делу.

— Я, ведь, уже вам все сказал, — подавленным голосом отвечает Качура, — разве не достаточно? Спрашивайте, что вам еще нужно !

Павлов начинает ставить вопросы. Многое из своих первоначальных показаний он берет назад. Так, признает, что напрасно оговорил Вайценфельда, будто последний свел его с Боевой Организацией.

— Я не хотел замешивать лиц, находящихся на воле, — объяснил он.

На мой вопрос, решительно ли утверждает он, что человек, о котором он говорит, есть именно я — он ответил уклончиво. Лицо другое, хотя сходство есть.

— А голос, — спрашивает председатель, — похож?

— Нет, голос как будто другой.

— В чем же сходство?

{70} — Глаза похоже.

Но существо оговора и моральный его характер, т. е., что он вовлечен в движение, что его искусственно склонили на террор и проч., — он поддерживал и на суде.

Поддерживал и то, что теперь он раскаивается и революционеров считает вредными членами общества.

О способе, каким получены первые показания, от самого Качуры удалось узнать следующее: Трусевичем ему были предъявлены летом 1903 года карточки, где я снят в ручных и ножных кандалах, причем вскользь было упомянуто, что это такой-то, осужденный по делу Оболенского.

Впечатление он производил крайне тяжелое. Мысль, очевидно, работала с большим трудом. Трудно сказать, был ли он ненормален тогда, или это просто крайняя подавленность психики. Что пережил этот человек, так и не удалось узнать. (Уже потом, через два года, когда нас увозили из Шлиссельбурга, кое-что узнали — потом. Об этом.)

Но, несомненно, пришлось пережить какую-то бесконечно тяжелую драму, если Качура так низко пал, что открыто заявлял о враждебном отношении к революционерам и о том, что его завлекли на террор.

{71} Качура появился в Екатеринославе в 1901 г. вполне сознательным социалистом, принимавшим участие в движении с 1896 года. Он сразу привлек широкие симпатии и доверие. У екатеринославских рабочих сохранилось его письмо, писанное в мае 1901 года, после демонстрации, где рабочих били нагайками. Письмо полно силы и революционного огня и дышит жаждой террора. В августе—сентябре того же 1901 года он окончательно заявил товарищам, что никакой работой больше заниматься не будет, что он решил убить Победоносцева, как самого сильного и опасного врага свободы и знания. Это дело он отныне ставит целью своей жизни, и если товарищи ему не помогут — он пешком доберется до Петербурга и приведет в исполнение свой план.

Товарищи, знавшие его непреклонную волю, обещали ему содействие. К нам предложение о нем попало в октябре 1901 года. Одному из членов Киевского Комитета поручено было навести о нем справки. Они оказались очень благоприятными.

Качуре предложено было не оставлять Екатеринослава, не бросать общереволюционной работы и обещано было, по истечении известного времени, принять его в Боевую Организацию. Он выказал значительную {72} выдержку, спокойно дожидаясь призыва в организацию. Тем временем к нему продолжали присматриваться, не торопясь давать ему ответственную работу.

В 1902 г. Качура перебрался в Киев и там, кажется, встретился со своим приятелем Чепегиным, убежденным террористом. Они друг другу изливали жалобы на организацию, что тянут, не дают ничего делать. После 2-го апреля Качура, а за ним Чепегин настойчиво начали требовать, чтобы их пустили на акт. При чем Чепегин заявил, что, если его не пустят от организации, он пойдет сам. Качура был более сдержан, заявляя, что он готов ждать, но чтобы ему определенно сказали, помогут ли ему справиться с Победоносцевым.

Чепегин, как известно, выполнил свою угрозу: не получив согласия на принятие его в организацию, он взял кухонный нож, пошел в летний сад Купеческого Собрания с целью убить Новицкого, и ранил вместо него какого-то невинного генерала Вейса.

Случай этот произвел потрясающее впечатление на всех, знавших самоотверженного Чепегина. Ясно стало, что у рабочих начинает накапливаться настроение, с

которым шутить нельзя. Опасаясь, чтобы Качура тоже не выкинул {73} какой-нибудь нелепости, решено было окончательно принять его в Боевую Организацию.

Перед принятием с ним виделся член Организации, выяснявший ему всю важность принятого им решения, указывавшей те опасности, которым он подвергается, идя на террористический акт.

— Помните, Фома, от вас может потребоваться нечто более тяжелое, чем умереть: вас могут подвергнуть пытке; уверены ли вы в своих силах?

— Уверен ! — твердо отвечал он. — Пусть на куски режут — ничего от меня не добьются !

— Фома, не забывайте, вы рабочий! От вас требуют больше, чем от интеллигента. Подумайте, какой ужас будет, если вы не окажетесь на такой же высоте, как Балмашев. Взвесьте все; пока еще есть время: ведь желающих идти на террор слишком достаточно. Может быть, вы еще испытаете себя, может быть, вы чувствуете себя способным заняться другой работой?

— Я больше года жду, — со слезами в голосе, тоскливо ответил он. — Чего же мне еще ждать? Ведь я не мальчик: мне 27 лет.

{74} Хорошо знаю, на что иду, уверен, Партия не будет жалеть, что приняла меня. ..

Его приняли. Он сделал свое дело смело, мужественно. На суде и после суда держал себя необычайно стойко. Целый год поражал жандармов своей бодростью, а под конец все-таки пал, и так низко, низко!!

Вот зловещие тайники человеческой души!...

Глава XI.

Процесс тянулся 8 дней, с утра до полуночи, истрепав и измучив всех до крайности. Я был связан по рукам и ногам и отпарировать удары не мог. Признать себя членом Б. О. нельзя было, так как это значило подтвердить справедливость оговора Григорьева и Качуры по отношению ко мне, а стало быть — косвенно и по отношению к другим, против которых решительно никаких объективных данных не было; настолько не было, что «суд» вынужден был их оправдать. — Разрушать всю сеть клеветы и инсинуаций Качуры и Григорьевых тоже нельзя было. Из характера показаний Качуры видно было, что он избегал запутывать и оговаривать лиц, которых он считал на свободе. Вайценфельда и меня он считал уже {75} осужденными, а потому валил все — мертвые сраму не имут.

Легко было несколькими штрихами разрушить всю махинацию, созданную Трусовичем и Качурой подписанную, — что он, невинный, бессознательный рабочий был вовлечен и чуть ли не насильно толкнут на террор.

Легко было доказать, как громадно было *его*, Качуры, влияние в рабочих кругах Екатеринослава, что ему подчинялись, что он поднимал настроение рабочих, а не наоборот. Но тут, во-первых, неизбежно было бы называть имена, места, а во-вторых, из злобы и мести он мог запутать целый ряд своих приятелей-рабочих. Мы решили с Вайценфельдом, по мере возможности, возражений ему не делать.

Григорьевых легко было вывести на чистую воду, и, в сущности, они этого вполне заслужили, но это все таки выдало бы их, особенно ее, головой. Мы с Ремянниковой предпочли молчать. Тяжело и скорбно было на душе: о таком ли процессе я мечтал! Больно давила мысль о товарищах на воле: как они там должны страдать ! Страдать тем более, что ведь правды-то о Григорьевых и Качуре они не знают, и естественно, что могут закраситься тяжелые мысли и тревожные сомнения.

{76} Л. Ремянникова и Вайценфельд держались все время мужественно и с большим достоинством; но сама роль их в процессе была такова, что многого они сделать не могли.

На шестой день начались речи. Первой была произнесена речь защитника Григорьева — Бобрищева-Пушкина. Точная копия речи Муравьева по делу 1-го марта, с примесью характеристики революционного движения, позаимствованной из «Бесов». И странно: не смотря на всю очевидную дрянность и недоброкачественность, не смотря на

чисто жандармский стиль, на бессмысленность и лживость обвинений, сыпавшихся на нас, его речь волновала и кроме гадливого презрения вызывала еще боль за незаслуженные оскорбления. Я долго после того думал: что могло этого человека, заставить, защищая Григорьева, бросать в нас грязью? Ведь он не мог не знать истинной подкладки дела, не мог не знать, что освещение, данное Григорьевыми, лживо и, как юрист, не мог же он не ценить корректного нашего отношения к его клиенту, которого мы могли бы потопить вместе с бывшей на свободе Юрковской, если бы только рассказали хотя бы часть того, что ими сделано было. И он, зная это, притворился ничего не знающим и клеветал.

Какая-то невероятная усталость охватила нас {77} всех под конец процесса. Просто физическая усталость. Одна мысль преобладала над всем: скорей бы все это кончилось! Тянуть эту комедию, вот уж больше недели, не хватало сил. . . К счастью дело подвигалось к концу. Кончились прения, начались «последние слова».

Странное дело: все время зал, наполненный «чинами», вкупе с великим князем, бесменно просидевшим всю неделю и постоянно сосавшим какие-то леденцы, производил впечатление подавляющее. Для настроения — это было чугунной гирей, тянувшей книзу. И казалось, человеческое слово недоступно и непонятно этим ледяным сердцам.

Но — таково уже величие человеческой души — она все же остается человеческой!

Я внимательно следил за залой, когда говорила Л. А. Ремянникова — мне сначала жаль было, что она заговорила с ними искренно, правдиво. И к удивлению своему почувствовал, что в этих мундирных душах что-то такое зашевелилось.

Речь Л. А. была проста, безыскусственна и правдива, как проста, безыскусственна и правдива она сама. Это было просто несколько простых слов об обыкновенной жизни русской девушки. Жизнь эту мы все хорошо знаем.

{78} Для нас она так обыденна, что мы друг другу о ней и не рассказываем. Но эти люди, очевидно, от настоящей то жизни так бесконечно далеки, что для них все это явилось полным откровением. Простое человеческое слово проникло глубоко к ним в душу и произвело потрясающее впечатление.

Конечно, это впечатление несколько не помешает им, в конце концов, отправить нас на виселицу «во исполнение служебного долга». Но выставить перед ними величие нашего дела, отравить их мысль и совесть сознанием кого и за что они осуждают и казнят, временно заставить их потупить глаза перед отвратительным делом, которому они служат — этого можно достигнуть...

Глава XII.

«Суд удаляется для совещания! Г. пристав, уведите подсудимых!...» — торжественно изрекает председатель.

Это было, кажется, на восьмой день, в 11 часов утра.

Жандармы выстраиваются и нас разводят по камерам.

«Суд совещается»... Что касается меня, то, {79} пожалуй, можно бы и не совещаться. Дело ясно, т. е. не дело, а исход «дела», и, как естественный результат ясности объективной — ясность субъективная: ясность и спокойствию. Не зная, сколько они там будут «совещаться», торопиться привести в порядок свои дела — написать письма. Стараться перехитрить подсматривающих надзирателей. Кое-как письма нацарапаны. Уже три часа, а все еще «совещаются». Начинаешь испытывать нетерпение. Чего они там? Столько времени уже прошло! Спят что ли? Темнеет. Прислушиваешься к каждому шороху. А! идут...

— На прогулку пожалуйста.

— Только-то? А я думал, более далекую прогулку предложат. . .

Надзиратель опускает глаза.

Ясный, морозный вечер. На небе ярко играют звезды. Под небом на вышке ходить часовой. Для «прогулки» отведено маленькое огороженное досками пространство шагов 15 длиной и 5 шириной, очень напоминающее место для загона скота. Ты виден только богу и

часовому, но сам никого не видишь.

«Совещаются». . . Ну, сегодня-то уж во всяком случае кончатся. А потом сколько еще пройдет? Пожалуй дня три-четыре еще {80} протянется... Дадут свидание? ... Родители бедные, бедные!... Как-то они там справятся со своим горем? Для них-то ведь это только горе... Товарищи ... Дойдет ли к ним письмо? ... Надо будет . . .

— Кончайте прогулку!

«Совещаются» ... Прошла поверка. От томительного ожидания мысли принимают какой-то уныло хаотически характер. Скучно! ...

Какое странное настроение в ожидании «приговора» !... Надо лечь спать, — совещание-то, верно, тоже спит...

Тихо, точно крадучись, отпирают дверь камеры. — «В суд пожалуйста, — вставайте!»

Посоветовались!... Обыскивают еще тщательнее, чем в первый раз. Часы бьют полночь. Говорят шепотом. В коридоре полумрак. Лязг шашек, звон шпор, гул шагов. Наряд полиции и жандармерии усилен. Стоят почти сплошными шпалерами. В зале пусто:

Угрюмо сидит только какой-то жандармский генерал. Из защиты явилась только молодежь. Лица у всех тревожные. Глядя на них, можно думать, что это они ждут приговора.

— Суд идет!

У всех «судей» истомленные, измученные лица... «Вешать-то, видно, не сладко» — {81} пронесется злорадная мысль. Даже военный прокурор — знаменитый Павлов — отсутствует, прислав своего помощника. Председатель Остен-Сакен бледен, волосы взъерошены. Читается приговор. Вся зала стоит. Взволнованным, прерывающимся голосом председатель выбрасывает: каторжные работы на 4 года, смертная казнь, арестантские роты, смертная казнь, каторжные работы на 10 лет. . .

— Приговор в окончательной форме будет объявлен послезавтра. Г-н пристав, уведите подсудимых!

Наскоро прощаемся с защитой. Ведут обратно в камеры. Чины полиции и жандармерии с каким-то жутким, тревожным любопытством смотрят на нас. Всем им как-то не по себе, точно в чем-то виноваты. . .

Камера. Стоишь в недоумении. Так это-то и есть смертный приговор?! Как просто! Почему же нет никаких таких особенных чувств? Или они еще будут? Наскоро раздеваешься и ложишься на койку. Только заснул, — сквозь сон слышишь, как опять открывается дверь камеры и кто-то будит тебя.

— Что такое, в чем дело?

— Приказано одеваться, сейчас поедете.

— Ночью-то? Куда же поедем?

{82} — Не могу знать — приказано приготовиться.

Неужели сейчас на казнь повезут? Или, может быть, нечто худшее?

Вывели на двор, усадили в карету и под охраной жандармов повезли. Куда? Известно! Через минут двадцать карета остановилась, — оказывается, это привезли обратно в крепость. — Ну, значить, не на пытку, облегченно думаешь и, как к себе в дом, идешь в старую камеру.

По дороге встречает заспанный полковник — заведующий.

— Ну что, чем кончилось? — тревожно спрашивает он.

— Смертная казнь! — выкрикиваю нарочно громче, чтобы жандармы слышали.

У вояки лицо вытягивается и делается такое испуганное, что невольно вызывает улыбку.

Теперь спать! А там видно будет! Лег, но заснуть не дают. Слышен какой-то беззвучный.. шепот (так «беззвучно» шептать умеют только жандармы тюремщики). Потом через каждые несколько минут продолжительное и внимательное разглядывание в глазок. Ничто так не волнует, как это надоедливое заглядывание, невыносимое даже в обычное время. Очевидно, приказано было тщательно следить за {83} «приговоренными».

Как тут избавиться от этого? Даю звонок, является дежурный.

— Слушайте, голубчик! Я приговорен к смертной казни, очень устал, спать до смерти хочется, но ваше подглядывание в глазок все не дает заснуть. Конечно, вы не виноваты — вам приказали. Но подумайте сами — чего вам глядеть-то? Видите, я спокоен, ничего над собой не сделаю, только и всего, что высплусь, а?

Жандарм попался хороший. Растерялся, бедный, не знает, что делать.

— Помилуйте, господин, сами хорошо понимаем! Что будешь делать? Служба такая проклятая!

На следующее утро, только приготовился писать письма — открывается дверь в камеру: посланник от министра внутренних дел, вице-директор Макаров !

— ?!

— Приговор вынесен; неужели вы так и думаете идти на виселицу?

— Т. е.?

— Да очень просто! Согласитесь сами, какой же смысл лезть в петлю? Ну, сделали там свое дело, провели, как вам хотелось процесс, выполнили, так сказать, свой долг. Дальше что же?

{84} — А что?

— Да ведь вы в загробную жизнь, надеюсь, не верите, какой же смысл умирать? Выполните формальность! Подумайте: простая ведь формальность! Ну, там прошение, заявление, называйте, как хотите, — что в этом можно дурного найти? И от вас не требуется никаких признаний, никаких раскаяний. Ведь вы обращаетесь не к правительству, а к верховной власти. А верховная власть, как хотите, великое дело...

— Несомненно. Для вас всех, купающихся в лучах этой власти — она великое дело, так как дает вам великие выгоды. Но для народа, для нас... — в оценке мы несколько расходимся. Но дело-то собственно, не в этом. Ведь у нас разговор был уже. За это время ничего не изменилось. Какие данные для изменения решения?

— Тогда требовались показания, теперь речь идет только о прощении.

— Только? А вам неизвестно, что у нас подача прошения о помиловании считается самым позорным преступлением? Бросим это.

— Вы меня извините, но я по человечеству (!) не могу оставить это дело в таком положении. Я знаю, меня вы не послушаетесь, я вас должен **{85}** предупредить: решено вызвать ваших родных, поручить им склонить вас.

— Вот что: говорю вам и передайте кому нужно: я безусловно запрещаю вмешивать в это дело родных. Это будет уже настоящим зверством — ведь вы хорошо знаете, что ничего не добьетесь, зачем же причинять им еще лишние страдания? Если вы честный человек — вы должны родных оставить в стороне.

В Макарове как будто что-то шевельнулось.

— Хорошо, я постараюсь выполнить ваше желание, — глухо проговорил он и вышел из камеры (Против ожидания Макаров выполнил свое (обещание — с родными не говорил).

На завтра опять повезли в предварилку. Уже поздно вечером, в субботу, снова выстроили в коридоре и повели для выслушания приговора в окончательной форме. В зале никого не было, кроме защиты. Прочли пространный приговор.

— Г-н приставъ, уведите осужденных. . . Последний раз!

Больше уже в этой зале не придется бывать. Распрощались с защитой, распрощался с товарищами по процессу. В холодном сводчатом коридоре тускло и уныло.

{86} Тускло и уныло на души. Давит одиночество: «на миру и смерть красна» ... Да, на миру красна ! Но как сера она здесь, на задворках, вдали от всего живого! Как мучительно хочется видеть близкое лицо! Один хоть сочувственный взгляд — как он поднял бы настроение! Как завидуешь старым бойцам, имевшим счастье умирать открыто, оставляя одним любовь, другим кидая презрение! А теперь!... Ночью выведут на двор. Палач, несколько жандармов ... Задуют и бросят тут же в яму ... Горькая судьба русского революционера! Во время «работы», как травленный зверь преследуем жандармами. В тюрьме охраняем жандармами. На следствии допрашиваем жандармами, на суде окружен

жандармами, на эшафоте казнен жандармами и последний вздох, последний привет товарищам-борцам и несчастной родине перехватывается жандармами.

Усталым, тоскливым взором скользишь по обнаженным шашкам и бесконечным мундирам и перед тобой поднимается, все больше и больше разрастаясь, как бы символ несчастий страны — громадных размеров жандарм. Он все увеличивается, увеличивается, необъятные лапы охватывают бьющуюся и стонущую Россию. Над разросшимся до невероятных размеров {87} жандармом — лозунг российского исконного начала: «все для жандармов и все посредством жандармов.»

Глава XIII.

Были первые числа марта. Повеяло теплом. Началась оттепель. Днем солнце сильно грело и птички весело чирикали за железными решетками. Сколько придется ждать, пока закончат все формальности? Пожалуй, несколько дней еще пройдет? Но как хорошо, что теперь уже больше не будут таскать по судам! Да и тревожить то уже больше, по видимому, никто не будет...

Кончился суд вражески; теперь-то только начинается настоящий нелицеприятный суд — суд собственной совести, суд над самим собой. Суд строгий и безжалостный!

Не раз, конечно, приходится сознательному революционеру снова и снова перебирать: правилен ли тот путь, по которому он идет?... Не раз мучительные тревоги и тяжелые сомнения, как червь заползают в душу и поднимают все тот же жгучий вопрос: нет ли других, менее тяжелых, менее тернистых путей для достижения блага и счастья трудящегося {88} класса? Неизбежен ли единственный путь тот, на который стал ты?

И сколько бы раз ты для себя ни решал, что да, тот путь правильный, да, тот путь единственный! Как бы спокойно и уверенно во все время борьбы ни шел по избранному пути, все же, когда твой путь пришел уже к концу, и, как естественный результат этого конца — в лицо тебе дышит холод раскрытой могилы, в этот момент вся пройденная жизнь властно встает перед тобой и грозно, неумолимо требует ответа: так ли ты распорядился мной, чтобы я радостно, без сожаления могла переступить грань, отделяющую меня от смерти? ...

Медленно, шаг за шагом проходишь свою жизнь. И какое блаженное спокойствие охватывает тебя, когда после упорных, долгих и страстных искательств с твердой верой говоришь суровой истице — совести: ты можешь быть спокойна, — твой путь был верен и награда заслужена: прими эту награду как должное.

И когда ты произносишь над собой этот приговор — все остальные приговоры начинают казаться такими мелочными, ничтожными! Счеты с жизнью кончены и кончены хорошо!

{89} Теперь остается выполнить последнее: спокойно по этому счету уплатить. Стараешься свыкнуться с внешней стороной. Рисуешь себе картину казни. И каждый раз дрожь проходить по телу и становится нестерпимо жутко, когда доходишь до момента выбрасывания палачом табуретки и сжимания горла веревкой. Изучаешь литературу предмета. Оказывается, если петля приходится неудачно, смерть наступает очень медленно. Много зависит от силы падения тела. «Наилучший» способ ирландский: там повешенного бросают с высоты 3—4 сажени и смерть наступает почти моментально от разрыва позвоночника.

Какой-то немецкий профессор даже изобрел формулу, как лучше вешать. На каждый фунт веса тела что-то около дюйма веревки известной толщины. Впрочем, добавляет гуманный ученый застенка, и это не всегда гарантирует моментальную смерть, так как весьма часто попадают аномалии в крепости связок позвоночника. Теперь, вот вопрос, есть ли у тебя аномалия, или нет у тебя аномалии?

С завистью думаешь о расстрелянии. Вот хорошая смерть! Стрелять — то уж хорошо постреляют, но повесить русские жандармы, конечно, толком не сумеют, и какая-нибудь {90} заминка уж непременно выйдет (Позже в Шлиссельбурге узнал, что это недоверие к

русским жандармам вполне правильно: в России вешают отвратительно и зверски. Редко казнь протекает без каких-нибудь мучительных осложнений; жертва бьется в петле иногда минут 10—20! Степана Балмашева палач держал за ноги, так как последние упирались в помост эшафота. При казни Ивана Каляева произошла, вследствие неумелости и небрежности, такая ужасная сцена — палач не сумел как следует накинуть петлю и Ив. Пл. так долго бился в судорогах — что присутствовавший при этом начальник штаба корпуса жандармов бар. Медем грозил палачу расстрелом, если не прекратит муки повешенного. Гершкович был вынут из петли через 30 минут и сердце еще слабо билось.).

Постоянная мысль о казни и обдумывание всех деталей в конце концов приучают тебя и к внешней стороне. Труднее сжиться с существом дела. Никак реально не представляешь себе смерть — небытие. Вот, все есть — и тело, и мысли, и желания, и любовь, и надежды — и вдруг ничего этого не станет! Но что же будет? Сон? Смотришь на свое тело, шупаешь себя и все стараешься представить себе, как это будет тогда? И как же это? Никогда? Никогда больше не узнаешь, что делается на свете, чем кончилась борьба? И не будет никаких мыслей, никаких тревог, никаких надежд? Как странно. ...

{91} А впрочем — что ж тут странного? Заснул, только и всего! Заснул и не проснулся — ничего страшного нет. Чего тут бояться? Все равно, что темноты бояться — глупо же это! Бояться нечего, бояться глупо, но бесконечное ожидание тревожит и томит. Когда же наконец? В крепостной библиотеке раздобыл Щедрина и на нем мысль отдыхала. Какой бесконечный источник бодрости, любви и ненависти. Главное — жгучей, непримиримой, проникающей все существо ненависти к старому строю и беспредельной любви к страдальцу этого строя — трудовому народу. И непримиримость, хвалебный гимн непримиримой борьбе.

Прошла неделя, другая. Все формальности кончены. Приговор находится у Плеве, и каждую минуту может быть отдан на исполнение.

Чего они медлят?

Казнь, конечно, состоится в Шлиссельбурге. Когда туда повезут? Вероятно вечером. И каждый вечер после проверки ждешь: вот, вот откроется дверь, принесут платье — пожалуйста! И долго, долго лежишь так на койке, трепетно прислушиваясь к малейшему шороху — не идут ли? Часто раздаются шаги, часто подходят к двери, — но все мимо. Под конец засыпаешь тревожным, от малейшего шума {92} прерывающимся сном. Под утро с удивлением смотришь — еще нет? Ну, значит, сегодня наверное ...

Прошло три недели со времени приговора. Была середина шестой недели поста. На страстной и святой вешать нельзя. Стало быть на этой шестой должны во чтобы то ни стало кончить. По середине недели пришелся какой-то праздник, словом выходило так, что 16-е марта я считал последним днем пребывания в Петропавловской. По моим расчетам, если казнят теперь, то это должно быть в эту ночь с 16 на 17-ое.

Настал вечер. Осмотрел, в порядке ли морфий (Перед арестом я был в полной уверенности, что после приговора будут пытаться. Не зная наперед, до какого предела сумеешь держаться, обеспечил себя достаточной дозой морфия, которую удалось спасти от всех утонченных обысков. Уничтожил уже в Шлиссельбурге, когда убедился, что не понадобится.), настроился на соответствующий лад, жду. Прошла проверка. В крепости стало тихо, как бывает только в тюрьме. Был десятый час вечера. Чутко прислушивается, нет ли какого движения. Среди мертвой тишины в коридоре вдруг слышен гул шагов. Шаги быстрые, властные, ясно приближающееся к моей камере. У самой двери слышен голос — «вот сюда, Ваше П-во!»

Гремит открываемый засов, за ним замок, широко распахивается дверь. Быстро входит полковник, за ним председатель суда Остен-Сакен; в коридоре видны жандармы. «При чем тут председатель суда? — проносится в голове, — неужели он будет присутствовать при казни?»...

— Здравствуйте, г-н Г., — раздается его мягкий бас. Он крайне взволнован, грудь высоко дышит. Лицо какое-то особенное. Он подошел близко, близко и каким-то торжественным тоном говорит :

— Я привез вам высочайшую милость! Жизнь вам дарована!

Слова эти врезались в память. Тогда — точно ножом полоснули.

Мне хотелось оборвать его, но у него был такой, непритворно блаженный вид, он

так искренно был проникнут величием своей миссии, так считал себя посланником неба, несущим весть избавления, что у меня язык не повернулся сказать ему дерзость,

— Я об этом не просил, вы это знаете? — только спросил я.

— Да, я знаю.

{94} Он вышел. Несколько секунд я простоял без движения. Потом, как стоял у койки, тихо, незаметно для себя опустился на нее. Все тело начало дрожать. Сначала слабо, постепенно все сильнее и сильнее. Руки так дрожали, что с невероятной силой впились в одеяло. Зубы выбивали дробь. Весь похолодел, затем сразу облился холодным потом. Хорошо помню: мыслей никаких в голове не было. Так, в каком-то странно подавленном состоянии прошло, вероятно, с полчаса. Весь, как будто, застыл и окаменел. Чувствовалась такая разбитость и слабость, что, несмотря на невероятную усталость, как будто не было сил лечь на койку, на которой я сидел безжизненной массой. — Холод сменился жаром. Все тело буквально горело. Легкое тюремное одеяло казалось нестерпимой тяжестью. Во рту мучительная сухость. Всю ночь пролежал с открытыми глазами, с каким-то диким вихрем мыслей в голове. Это была вторая ночь, проведенная без сна: первая — после оговора Качуры.

Сразу не охватывалось все значение происшедшего. Чувствовалась какая-то беспомощность, неподготовленность к чему то большому, большому. Образовалась какая-то огромная пустота. Все время настраивал себя на известный лад. Все **{95}** старания были направлены на то, чтобы приучить мыслить себя вне жизни. До известной степени этого добился: жизни не существовало — вся жизнь была грядущей смертью: только мысль о смерти питала жизнь.

И вот, когда все существо, все чувства и мысли после больших стараний направлены в известную сторону, в момент наивысшего напряжения и ожидания именно этой стороны, — вас поворачивают сразу, без предупреждения, в другую. Перейти неожиданно от смерти к жизни, быть может, еще более трудно, чем от жизни к смерти.

Но ... жизнь получена, «дарована», надо какое-нибудь употребление из нее делать!

Глава XIV.

На утро сияющий, лучезарный является полковник (заведующий тюрьмой) поздравлять.

— Вот что, полковник, если вы кому, действительно, хотите доставить радость этим известием — протелефонируйте брату, а то они об этом только через три дня узнают.

К моему удивлению, комендант разрешил такое «нарушение закона», и родные по телефону были об этом извещены.

{96} Начинаешь наново налаживать жизнь к жизни. Если бы новорожденный все сознавал и мыслил, он, вероятно переживать бы нечто соответствующее. Но радости жизни не было. Было одно обстоятельство, заставлявшее сильно колебаться в оценке полученного «дара».

Тогда к казням Россия еще не привыкла. Казнь всех давила, всех волновала, перед всеми стояла, как живой укор. И всем бывало стыдно. Стыдно правительству, совершавшему казнь, стыдно обществу, допускаяшему казнь и сидевшему спокойно, когда другие гибли на эшафоте. Труп казненного лежал пропастью между обществом и правительством. На последнем горела печать палача, оно вызывало к себе ненависть, презрение и отвращение.

Но вот казнь отменяется, «даруется» жизнь и вся тревожная атмосфера разряжается.

Все начинают себя чувствовать легко. Куда-то далеко, далеко отлетает сознание, что, ведь, русское правительство осталось тем же, чем было, что ни один грех не искуплен, что ничего тут не произошло такого, что могло бы смягчить отношение к этому правительству.

Это одно. Но в настоящем случае были специальные условия. Характер предательства был таков, что при желании давал богатую пищу для дискредитирования

Примечание [LDN1]: ldn-
knigi.narod.ru
Nina & Leon Dotan

террористического течения вообще. Конечно, история достаточно научила, что нельзя принимать на вру показаний предателя, и ни один добросовестный противник этим пользоваться не будет. Но стоять только «щепетильность» откинуть в сторону, делать вид, что поверил предателям — и на этой канве вы можете вышивать какие вам угодно узоры.

Пример тому — Бобрищев-Пушкин. Правда, даже буржуазное общество от него отшатнулось. Правда, адвокатские корпорации исключили его из своей среды.

Но где гарантии, что другие и из другого лагеря не сделают это боле умело, с меньшим временным вредом для себя и большим для нас?

Вот эта-то боязнь, что предательство двух лиц в процессе, их продиктованные жандармами трафаретные показания на тему о том, что ими воспользовались руководители террора, скрывшиеся за их спиной, как пушечным мясом, будут недобросовестно использованы, — заставляла желать казни: через труп не всякий решится переступить для таких целей.

Но зато, с другой стороны, жизнь досталась в такой момент, когда все внутри тебя кричало, **{98}** что близок час спасения России, что тебе это спасение доведется увидеть своими собственными глазами. Война только началась, а уже перед страной открылись зловещие язвы старого строя, которые народу приходится поливать своей кровью. И то, что раньше для большинства было скрыто, и ясно было только немногим, теперь обнаружилось и ясно стало всем.

И даже этот столп, главный кит, на котором спала убаюканная совесть народной массы — мощь и непобедимость российского оружия — этот мистический Молох, которому страна безропотно отдавала все, вплоть до своей крови, и он зашатался, и он разбился вдребезги при первом же испытании...

Прошло недели три. Давались свидания и даже личные, а не через решетку. Начал запасаться книгами, располагаясь «почитать». Дышалось легко. Казалось, неусыпное начальство о тебе забыло — величайшее благо, какое только заключенный может желать для себя. Со дня на день ждал перевода в Шлиссельбург. Как вдруг, в первых числах апреля, полковник, красная и конфузясь, показывает «бумагу». Плеве распорядился «отобрать». Что? Все! Свидания, переписку, письменные принадлежности, книги... больше отбирать нечего.

{99} Отобрали — и сразу точно в какую-то пропасть погрузился. Трудно передать, какое это лишение — отсутствие книг. Со всем можно мириться, ко всему можно привыкнуть: к одиночеству, отсутствию прогулок, свиданий, переписки, к полной оторванности от живого мира, в темном помещении, к отвратительной пище, ко всему, ко всему, пока остается какое-нибудь занятие, какой-нибудь интерес в жизни. Для человека мало-мальски интеллигентного, наибольший интерес, конечно, создает книга. Пока есть книга — есть жизнь. Своеобразная, однобокая, но все же жизнь.

Но когда вас оставляют в четырех стенах, и оставляют не временно, а навсегда, когда, кроме этих четырех стен, вы ничего не видите, никаких впечатлений не получаете; когда в течение целого дня вашей мысли не за что ухватиться, когда вы не можете себе сказать: вот, я в таком-то часу начну делать то-то, когда ваши мысли фиксируются вокруг одного: что тут делать? Как жить без всякого дела? И ничто не может отвлечь вашей мысли в другую сторону — вы через несколько дней начинаете уже чувствовать, что у вас в голове точно жуки ползают. Страшно не то, что вы этот день сидите без дела. Страшна мысль **{100}** постоянная, неотвязная, что ведь все время будет так. Вас бесценно охватывает ужас, что ведь за сегодняшним днем последует такой же завтрашний, за завтрашним такой же послезавтрашний и так без конца, без конца.

Это именно и есть то, что выражено в библейском проклятии и что может быть понято только жертвами русского режима: «И проклянет жизнь твою Господь Бог твой: и встанешь ты поутру, и будешь молить: «о если бы настал вечер», а вечером будешь молить: «о если бы настало утро.»

В этом все содержание жизни, на которую обречен человек, лишенный в одиночном заключении книг и физического труда. Проходить тусклый, томительный, давящий день. О

трудом дожидаясь сумерек. Бросаешься на койку. Сон был бы спасителем. Но сна нет. Тело и мозг целый день бездействовали и во сне не нуждаются. В кошмарной, тяжелой полудремота кое-как проходить ночь. В час уже светло и точно вечность тянется дразнящее белое петербургское утро. А утром с тоской и отчаянием думаешь: вот, опять целый день надо прожить! Как, как?!... Чем наполнить пустое пространство, громадное пространство в 24 часа?!...

{101} Лишение книг — это самая утонченная, самая дьявольская пытка. Долго, вряд ли, безнаказанно можно ее переносить. Разрушение психики неизбежно.

Но как это ни странно и тут есть своя хорошая сторона. Для заключенного, конечно, совершенно ясна вся бессмысленность этой меры даже с точки зрения правительственного «закона». Смысл только один: бесконечная злоба правительства, желание выместить над связанным врагом свою ненависть, желание сломить его волю и заставить просить пощады.

Результаты получаются, конечно, прямо противоположные. В душе поднимается какая-то дикая ненависть и гадливое презрение в этому озверевшему чудищу, тут, в этих мелочах, раскрывающему перед тобой свое нутро. Твое прежнее отношение не только не колеблется, не только не смягчается, но наоборот укрепляется и обостряется. С какой-то злобной радостью теребишь свои раны, созерцаешь эту беспросветную мрачную жизнь и со жгучим злорадством скрежещешь зубами: «А, вы хотите сломить своими пытками? Хорошо же, посмотрим, кто кого сломит?!...»

Тяжело, мучительно! Но то, что ты это тяжелое и мучительное переносишь и не боишься {102} пасть, облегчает муки и помогает выносить это, казалось бы, невыносимое состояние.

И какое-то бешеное наслаждение и глубокое удовлетворение испытываешь при сознании, что тебя пытаются, а дух твой еще сильнее закаляется.

И вспоминаются невольно стихи шлиссельбуржца Морозова:

И в тюремной глуши,
Где так долги года,
Не сломить никогда
Нашей вольной души!

Глава XV.

Потянулись дни, недели, месяцы. К июню крепость почти опустела. Осталось человек 7—8, так что прогулки кончались в 10 часов утра. В душу закрадывается тревога. Что это значить? Не перестало же правительство добровольно арестовывать? Значить, борьба идет на понижение? Патриотический угар захватил массы и революционеры вынуждены временно сойти с арены борьбы? Неужели Россия одерживает победы?... Узнать что-либо невозможно, и дни текут серые, унылые, беспросветные.

Почему не увозят в Шлиссельбург? {103} Неужели так здесь будут держать, в 46 номере? Или Плевел что-нибудь затевают такое, чего и придумать не догадаешься?

Тем временем — пришла беда, открывай ворота — нога разболелась настолько, что в течение месяца не мог двинуться с койки

(В Киеве во время заковки в кандалы неосторожно ударили молотком по пальцу ноги. Вероятно произошел маленький кровоподтек и осколок ногтя врезался в палец. Кандалы не снимались, так что дня четыре нельзя было видеть, что там произошло. По прибытии в крепость оказалась маленькая опухоль, но так как на тот свет пешком не ходят, то это особенно и не тревожило меня. К доктору обращаться было неловко: человека вешать собираются, а он палец вздумал лечить. Так прошел год. Когда лишили книг и я от безделья целый день, как зверь в клетке, заходил по камере, палец дал себя знать сильным и крайне мучительным воспалением. Крепостной врач советовал сейчас же делать разрез, приглашенный хирург предложил несколько выждать. Потом перевели в Шлиссельбург и там попал в руки крайне невнимательного и невежественного крепостного врача Самчука. Он ограничивался постоянными разрезами, сделав их в общей сложности 26. Уже в декабре 1905 г., на ходатайство родных в департаменте полиции о допуске специалиста хирурга, Самчук ответил, что большой чувствует себя хорошо и надобности в хирурге не усматривает. К счастью, в феврале перевезли в Москву в Бутырки. Там сняли уже совершенно изуродованный палец и тем

спасли ногу. Хромота, впрочем, осталась и поныне.), {104} так что и на прогулки не выходил. Единственно, что спасало от совершенно нестерпимого однообразия — это голуби и воробушки. С ними так подружились, что как только, бывало, засвистишь, слетаются со всех сторон, садятся на голову, на плечи, цепляются за грудь, бороду и пр.

В конце июля крепость опять начала наполняться. (Так как я всегда гулял последним, а прогулки там по ¼ часа, начиная с восьми утра, то всегда имел возможность знать число содержащихся). Стало быть, волна снова поднимается — думаешь с облегчением — и рад вновь прибывающим свидетелям, показывающим рост революции.

29-го июля, часу в третьем дня вдруг загремела пушка. Салюты в царские дни обыкновенно производятся часов в двенадцать; что случилось? Начинаешь считать выстрелы: 33 ... 75 ... 101... Пушка продолжает греметь! Самый большой салют 101, а тут им конца нет. С замиранием сердца насчитал около 300. Первая мысль, от которой даже весь похолодел: одержали какую-нибудь блестящую победу! Но такую блестящую, что начав палить, от радости остановиться не могут.

И чем больше гремели пушечные выстрелы, {105} от которых дрожали стены тюрьмы, тем горестнее и мрачнее становилось на душе: ведь что бы там ни было, — раз у «них» великая радость, значит у страны великое горе! Чутко прислушиваешься, что делается в коридоре. Часами простаиваешь, приложивши ухо к железной двери, — быть может схватишь хоть слово, хоть звук, который даст какое-нибудь указание! Заметна суета, заметно, что произошло что-то неожиданное, но кроме «беззвучного» шепота, еще беззвучнее, чем когда-либо, ничего ухватить не удается.

Потом настала какая-то мертвая, подавляющая тишина. Лежишь на койке и рисуешь себе, как вот, в каждой камере лежит с такими же трепетными, тревожными мыслями, мучаясь над вопросом, над чем «они» ликуют, и что нет возможности узнать об этом.

Помню, это было в пятницу. В субботу должна была быть баня. Утренний кипяток для чая разносят в семь часов, а полотенце, которое на ночь убирается, несколько раньше. Куранты бьют семь, бьют половину восьмого, бьют восемь — никого нет! Половина девятого — никого нет, только в коридоре какой-то тревожный шепот и беготня. Только в 9 часов торопливо начали разносить кипяток, белье для {106} бани и пр.

Лица жандармов истомленные, как после похмелья. Стало быть, событие такое радостное, что всю ночь пропьянствовали! Но что?! А может, только наследник родился?

Возвращаюсь из бани — в камере полковник. Это невероятный формалист, настоящий строевик, но все время относился очень хорошо, а после осуждения особенно. Физиономия сияющая, блаженная. Видно, хвачено было солидно. «Вот бы у него выпытать», мелькает соблазнительная мысль.

— Что у вас там, пороху давать некуда, что вчера целый день палили?

— А по какому случаю палили, как вы думаете? — лукаво подмигивая одним глазом, спрашивает он.

Скажет или не скажет? Пожалуй, соврет?

— Да наследник родился, ясное дело! — огорошиваешь его, а сам ждешь, вот сейчас с гордостью скажет: что вы! победу одержали! Вот что!

— Верно! Однако, вы догадливы.

— А знаете, я уже было думать начал: уж не победу ли, думаю, одержали?

Полковник только безнадежно махнул рукой ...

{107} Недели через две, после крещения наследника, опять является торжествующий.

— Великие милости по манифесту получили, полковник?

— Мы то ничего не получили, а вот для вашего брата там много чего есть!

— Ну, уж будто бы так много?

— Очень много! Коменданту крайне хочется, чтобы вам дали прочесть манифест, но сами, знаете, не решаемся, придется снести с департаментом полиции.

— Да, уж говорите, конституцию дали под поручительством Плеве, что ли? ...

Через пару дней неожиданный гость: Макаров! Явился, оказывается, поздравить: завтра увезут в Шлиссельбург. От радости чуть не бросился ему на шею. Пошел потом

рассказывать о великих милостях: выкупные платежи отменили, телесные наказания отменили, политическим сроки сократили, словом: рай !

— И телесные наказания отменили? Так что отныне то уж драть по закону нельзя?

Старался выпытать о войне — ничего не удалось добиться, — видно было только — «хвастать нечем».

Завтра в Шлиссельбург! Наконец то ! Радость такая, точно объявили, что завтра на волю {108} выпустят. Теперь по крайней мере узнаю, что там ждет тебя

(Потом узнал, почему это, наконец, решили отправить. Во-первых, оказывается, к тому времени, попусением промысла пресеклись дни приснопамятного Плеве. Во-вторых, если бы меня оставили здесь, то по манифесту пришлось бы мне срок сократить и из бессрочного перевести в четырнадцатилетнего; у нас единственное место, изъятое от «действий» манифестов — это Шлиссельбург. Там по «закону» манифесты не применяются, исключая особых высочайших постановлений по представлению министра.). Считаешь минуты, вот повезут! Проходит день, проходят два — никаких распоряжений! Опять какие-нибудь перемены, думаешь с ужасом. Через пару дней является полковник, и говорит, что завтра повезут — так сообщили, но бумаги еще нет. Проходить завтра — опять ничего! Прошло еще несколько дней. Приносят платье и все вещи: приказано сдать на руки, очевидно, сегодня увезут. Опять идет день за днем — ничего нет! В общем в таком томительном ожидании прошло около трех недель! Даже жандармы и те негодовали — чистое безобразие! Для них человек — все одно, что дерево!

Наконец, 1-го сентября, часа в четыре ночи, будят: пожалуйста, приехали ! Вещи давным-давно уложены. Наскоро одеваешься, как бы боясь, чтобы опять не вышло какой задержки.

{109} Идут. Ну, прощай, 46-ой номер! Больше то уж не увидимся. Тепло распрощался с жандармами, с которыми как-то сжился за это время. Прошли сквозь строй солдат. У ворот карета. Офицер, два унтера. — «Трогай!» Пять часов. Ранний рассвет сентябрьского утра. Подъезжаем к набережной у Дворцового моста. Там стоит казенный пароход. Жандармы подхватывают под руки и по узкому трапу вводят в нижнюю каюту. Наскоро бросаешь последний взгляд на Петербург, на Петропавловскую крепость, на выстроившиеся против нее дворцы. Где-то слышен гудок. Прощай! Прощай! ...

Придется ли еще когда-нибудь тебя увидеть, невластная столица несчастной страны? ...

Конец первой части.

Часть вторая.

Шлиссельбург.

{113}

Глава I.

Маленькая каютка казенного парохода. У двери жандармы. Под мерный шум волны невольно — картина за картиной — встает прошлое этого мрачного застенка самодержавия.

Шлиссельбург был учрежден для наиболее «тяжких государственных преступников» в царствование Александра III, Толстого и Плеве. Имелось в виду заменять им смертную казнь. Но так заменять, чтобы правительство в убытке не было. Другими словами — обзавестись достаточно вместительным Алексеевским равелином, где в первые же два года больше половины умерло, а остальные лежали безнадежно больными и разбитыми.

В октябре месяце 84-го года, глубокой ночью от Петропавловской крепости отплыла выкрашенная в черный цвет баржа, разделенная на маленькие клеточки. По клеткам

развели закованных в кандалы «государственных {114} преступников», в том числе Л. А. Волкенштейн и В. Н. Фигнер. Баржа доставила их на обитаемый только жандармами островок; из клеток баржи они были переведены в клетки тюрьмы.

Полное одиночество. Прогулка по ¼ часа. Ни книг, ни физического труда. Перестукивание запрещается и строго преследуется. Пища скверная: каша с песком и черный хлеб с песком. Ни свиданий, ни переписки. И так на всю жизнь. — Но долго ли может тянуться такая жизнь? Не лучше ли погибнуть в борьбе, чем разлагаться заживо?

Среди заключенных находились известные революционеры Минаков и Мышкин, перевезенные с Карийской каторги за побег. Первым открывает борьбу Минаков. Он заявляет товарищам, что нанесет оскорбление доктору, его будут судить, и на суде он расскажет про невозможный режим. Россия и Европа узнают и вмещаются в жизнь пленников самодержавия.

На следующий день Минаков выполнил свое решение. На него набросились жандармы, увели его в старую тюрьму и больше его товарищи не видали. Узнали, что Минаков добился суда, но суда российского: приехали два офицера, {116} спросили, как зовут, и когда он заговорил о том, почему он оскорбил доктора, его прервали замечанием, что это «суда не касается». Под утро его расстреляли.

Шли дни. Мучительные, безотрадные, тяжелые. Через несколько месяцев Мышкин решает: Минакова нет — я пойду за ним; быть может, это поможет. На вечерней поверке Мышкин бросает тарелкой в зрителя. На него набрасываются жандармы и уводят в старую тюрьму. Больше его не видели. Вскоре узнали, что его постигла та же участь, что и Минакова: приехали два офицера, спросили, как зовут; говорить не дали. Под утро расстреляли.

Среди ужаса одиночества, мрачных мыслей и тревог за товарищей решили испытать другой путь борьбы: добиться улучшения режима, или заморить себя голодом. Тюрьма перестала есть. На пятый день начались болезни. Разбитые, расслабленные, пластом лежать одинокие на своих койках. Прошло 9 дней. Когда у заключенных не было уже сил бороться, начальство заявило, что если не начнут принимать пищу, доктор будет кормить искусственно. Заключенные сдались.

Шли дни, месяцы, годы. Мрачная тишина {116} прерывалась то там, то здесь раздававшимся то рыданием, то смехом.

То были безумные рыдания и безумный смех сошедших с ума товарищей.

Ночью сквозь тревожную полудремоту, с бьющимся от тяжкого предчувствия сердцем, заключенные прислушивались к неясному шуму, поднимавшемуся от поры до времени в коридоре. Слышались заглушаемые шаги, порывистый шепот; что-то выносилось из камер.

Это жандармы выносили быстро сходявших в могилу борцов. В первые же два года их погибло двенадцать человек! (Минаков, Клименко, Тиханович, Мышкин, Малявский, Буцевич, Долгушин, Златопольский, Кобылянский, Игнат Иванов, Исаев, Немоловский).

Борьба — самая жгучая, самая острая, самая непримиримая, почти не прекращалась. Пускались в ход все способы. На головы заключенных сыпались бесконечные наказания, но тюрьма боролась до последних сил.

Правительство не сдавалось. Двенадцать трупов в первые же два года и трое сошедших с ума не смущали все милостивейшего самодержавия. Через три года упорной, но безрезультатной почти борьбы один из заключенных, {117} Грачевский, заявил, что он пойдет по пути Мышкина и Минакова — быть может, это теперь поможет.

Жандармы донесли, Грачевского насильно перевели в старую тюрьму и никто из начальства к нему не являлся. Видя, что путь отрезан, он решает покончить с собой. Но лукавое начальство зорко следит за ним, отнимая возможность выполнить задуманное самоубийство. Грачевский притворился успокоившимся.

Через несколько недель смотритель, который держал ключи у себя, пошел в гости. Дежурившие у камеры жандармы занялись своим делом. Грачевский воспользовался моментом, ухитрился снять высоко прикрепленную лампу, облил себя и койку керосином и

зажег. Яркое пламя вызвало тревогу, но в камеру нельзя было проникнуть. Пока явился зритель, тело Грачевского превратилось в сплошную обуглившуюся, но еще живую массу. Через три часа невероятных страданий Грачевский умер.

Казалось стоны сгоревшего Грачевского долетели до каменных сердец петербургских самодержцев. Оттуда дан был приказ «смягчить» положение заключенных. Смягчение выразилось в том, что в дворники, где заключенные гуляли, насыпали песок, поставили лопаты {118} и разрешили пересыпать песок с одного места на другое. Выдали кое-какие старые, никуда негодные книги. Как ни ничтожны были результаты, важно было то, что правительство било отбой. Упорная борьба еще продолжалась, но первая победа была уже одержана.

В 1890 году в Шлиссельбург привезли Софию Гинсбург. Ее поместили изолированно, в старую тюрьму. Через несколько недель она перерезала себе артерию и, когда жандармы явились к ней в камеру, она плавала мертвая в крови. Это была последняя кровь, принесенная в жертву шлиссельбургскому деспотизму.

Со середины 90-х годов начинается улучшение режима. Царское правительство как будто устало терзать свои жертвы. У тигра как будто притупились зубы. Но это только так казалось заключенным.

Причины смягчения режима на самом деле лежали не в уменьшении жестокости.

В 90-х годах, как известно, революционное движение временно замерло. Тюрьмы стояли пустыми. «Важных» преступников совсем не было. С 90-го года в Шлиссельбург никого не заключали и дел таких — «Шлиссельбурга достойных» — не предвиделось и в будущем. Между тем из 48 заключенных двадцать к {119} тому времени уже погибло, трое были безнадежно помешанные, десятерых ждал перевод в Сибирь, оставалось всего пятнадцать человек.

Оставить режим старым — это значило в несколько лет лишиться всех заключенных. На Шлиссельбург же отпускалось 85 тысяч в год и целый штат жандармов питался вокруг жертв царизма. Сама крепостная администрация, опасаясь за свою судьбу, начала хлопотать об улучшении режима, т. е., другими словами, о поддержании дорогой им отныне жизни уцелевших «арестантов». Вот источник мягкосердия русского правительства по отношению к Шлиссельбургу.

За все время существования Шлиссельбурга (1884—1905), туда было привезено 68 человек; из них :

13 были расстреляны и повешены в стенах тюрьмы (Мышкин, Минаков, Ульянов, Генералов, Осипанов, Андреюшкин, Шевырев, Штромберг, Рогачев, Балмашев, Каляев, Гершкович, Васильев.);

4 там же покончили с собой (Клименко, Тиханович, Грачевский, София Гинсбург.);

3 застрелились вскоре после освобождения (Янович, Поливанов, Мартынов.). {120}

4 находятся в состоянии безнадежного умопомрачения (Похитонов, Щедрин, Конашевич, Чепегин.);

15 умерло от чахотки, цынги и прочих болезней в стенах тюрьмы (Нечаев, Исаев, Арончик, Богданович, Златопольский, Малавский, Буцинский, Буцевич, Кобылянский, Геллис, Долгушин, Юрковский, Игнатий Иванов, Немоловский, Людвиг Варынский.);

5 по уничтожении Шлиссельбурга перевезены на Акатуйскую каторгу ;

и 1 убита во время манифестации во Владивостоке (Людмила Волькенштейн).

Смягченный режим держался до 1902 г., т. е. до воцарения Плеве. Новый русский самодержец, при котором было заложено начало Шлиссельбурга, нашел весь режим «незаконным», лишил всех приобретенных льгот и ввел «законность» ...

... Пароход приближался к этому царству российской законности.

Глава II.

Часов в десять утра пароход останавливается. Слышны какие-то голоса. Очевидно, подъехали. Офицер сверху делает знак унтерам.

{121} — Пожалуйте!

Моросит мелкий дождик. Небо серое петербургское. Вот он — Шлиссельбург! Давящая жуть охватывает при первом же приближении к нему.

Это очень маленький островок — десятины, вероятно, в две, расположенный в месте истока из Ладожского озера Невы. Со всех сторон окружен высокими стенами. По углам башни. Стены сырые, с темными пятнами — следы сырости и плесени — невероятно мрачные. Поднимаются прямо из-под воды. Ладожские волны злобно бьются об эти громады вот уже много сотен лет! Через стены видны только трубы и золоченый шпиль колокольни.

Пароход к самому берегу не подходит. Вас пересаживают в лодку, наполненную жандармами. На маленьком клочке земли, расположенном около ворот, виднеется целая группа жандармских офицеров. Несколько поодаль — нижние чины. Лодка направляется к ним. Все окутано осенним туманом.

Въезд в крепость напоминает туннель; в раскрытые ворота виднеется темная пропасть. У ворот жандармы с винтовками. Над воротами двуглавый орел и надпись громадными золотыми буквами: «Государева», в простоте душевной {122} изображенная, очевидно, вместо «государственная». Маленькая, невольная, может быть, вследствие поспешности, ошибка, раскрывающая однако большую ошибку и ужас русской жизни: l'état c'est moi — государство — это я!

Маленькая ошибка, заключающая в себе однако большую правду и вое содержание Шлиссельбурга: место расчета с своими личными врагами.

У ворот встречает целая рота жандармов и по каким-то бесконечным лестницам, коридорам, казармам вас, наконец, приводят в приемный покой.

Удивительное чувство охватывает вас, когда вы входите в ворота, вернее, в зияющую темную пасть этой крепости. Под гул шагов, под лязг шашек, под бряцание шпор пред вами поднимается весь мрак таинственности, окутывающий эту «Государеву» охрану, все ужасы, слышанные о ней. Встают тени погибших и образы томящихся там, и вам невольно хочется пасть ниц перед этим местом скорби и страданий, пред этой голгофой русской революции — немой свидетельницей величавых трагедий и геройских мук.

Точно у «святых стен», — проносится в мозгу, вызывая одно из забытых впечатлений {123} раннего детства — рассказы старой-старой бабушки о посещении ее другом старцем евреем — «святых стен святого Иерусалима».

— «И было тихо, тихо кругом, шепчет ее старческий голос, — а мы с замиранием сердца трепетно слушаем: — только большие птицы жалобно витают в облаках. Скорбь на земле и Бог на небе! Стоит Нахман перед святыми стенами. Вот тут сейчас, в двух шагах Иерусалим, — наш святой Иерусалим, детки ...

И зашептал Нахман молитву, и ноги его задрожали, и он опустился на землю, и из груди его вырвался стон... И огласил этот стон всю пустыню, дети, и ударился он в святые стены, и полетел к небу. А ангелы подхватили его и понесли к Богу. И лежит Нахман ниц, и обнимает землю, и обливает ее своими слезами. Большими слезами, как перлы. И шепчет, глядя на святые стены : «Благословен Отец Бог наш! Видел! видел святыню нашу! Было для чего жить! . . .» И взял себе Нахман на грудь смоченной его слезами святой земли и пошел»...

— «Бабуся, почему Нахман плакал?» — едва дыша, спрашиваем мы.

— «Там вся слава наша и вся скорбь наша, деточки!»...

{124} — «Там вся слава наша и вся скорбь наша», как эхо проносится под сводами крепости.

Сердце бьется сильно и радостно в гордом сознании, что на твою долю выпал редкий удел переступить этот зловещий порог, что за тобой захлопнется дверь, захлопнется навсегда и ты очутишься хотя вне жизни, но на одном клочке земли с этими стойкими борцами. . .

В приемном покое, на одном из шкафов которого красуется череп — как бы эмблема шлиссельбургского заточения, с вас снимают платье, раздевают догола и облачают в

арестантский костюм. Белье точно иглами жжет и колет все тело. В тяжелом громадном арестантском одеянии с непривычки чувствуешь себя, как в мешке. До позднего вечера вас держат здесь и вы стараетесь предугадать, куда же вас, наконец поведут и где будут «содержать». Жандармы при вас — немые, как статуи — неотлучно.

Томительно долго и нестерпимо тоскливо тянется время. Со двора доносится скрип гармоники и отдаленные звуки залихватской солдатской песни.

И вас, как ножом, полосуют эти звуки, кажущиеся здесь такими кошунственными — точно {125} в комнате дорогого покойника заплясали комаринскую. «Неужели они здесь поют?» — думаешь с недоумением.

На дворе начинает темнеть. Прислушиваешься к каждому шороху — вот, вот за тобой, думаешь. Но все мимо. Часов в девять вечера являются два жандармских офицера: — «одеваться»!

С трудом натягиваешь на себя халат, а ноги теряются в необъятных «котах», подбитых громадными, нестерпимо колющими, гвоздями. Вы собираетесь уже идти, как вам накидывают на голову башлык, плотно обвязывают вокруг шеи, жандармы подхватывают под руки и куда-то волокут.

Трудно передать то подавляющее впечатление, которое производить эта «ходьба» с завязанными ртом и глазами. Впечатление тем мучительнее, что вы никогда об этом приеме не слышали, так как раньше он не применялся, совершенно не ждете его, не понимаете его значения и конечно, рисуете себе всякие ужасы. Подвал, «дыбы», раскаленные щипцы, замурование в каменный мешок — все лихорадочно проносится в вашем воображении.

Вы чувствуете, что вас ведут по каким-то лестницам, то вверх, то вниз; потом вас {126} обдает свежий воздух; идете долго по каменным плитам, проходите под какие-то своды, где шаги отдаются невероятно гулко. Какие-то темные коридоры, где слышен стук ружей. Опять ступени. Как будто спускаетесь в какой-то подвал. Слышно, как громяхают железные ворота. Протискиваетесь через какие-то тесные проходы. Идете, идете, как будто без конца — и все время в ушах отдается ужасный гул многочисленных шагов. Дышите отрывисто спертым, скопившимся под башлыком воздухом. И все время в голове быстро, быстро сменяются мысли, вся жизнь, точно зигзагами молнии, прорезывается в сознании.

Вдруг все останавливается. Вы как-то не замечаете, как с вас снимают капюшон и вас обдает ярким светом. Вы дико озираетесь кругом, щурясь от ржущего глаза света, стараясь сообразить, где вы.

Небольшая камера. Арестантская, привинченная к стене койка, железная, вделанная в стену доска-стол, решетка: знакомая картина. Вся ватага жандармов высыпает из камеры. Щелкает замок. Вы остаетесь один, начинаете приходить в себя. Ваш взор с тревогой и трепетом скользит по камере.

{127} Вот оно, наконец, шлиссельбургское сидение !

Вы даже приблизительно не представляете себе, где вы: погреб ли это, в какой это части крепости, есть ли здесь еще какие-либо камеры, что представляет собой это здание — сплошная загадка.

Тишина подавляющая. Вы слышите тишину, ощущаете ее. Как будто очутились на каком-то мертвом острове. Только каждые несколько минут к глазку тихо, тихо кто-то подкрадывается мягкими кошачьими шагами и наблюдает за вами.

Угнетенный всем пережитым и перечувствованным, вы бросаетесь на койку, но, конечно, не смыкаете глаз.

Все свершилось — вы на шлиссельбургской койке! Кто лежал на ней до вас? Кто переживал на ней те же чувства? Какие ужасы развертывались вот здесь, в этих четырех стенах? Быть может, приговоренные к казни проводили здесь последние ночи? Быть может, здесь от нестерпимой тоски по жизни сходили с ума? Быть может, здесь себя сжигали, перерезывали горло, истекали кровью? ... А теперь вот выбелено, вычищено, и погибшим, выбывшим ты приходишь на смену...

{128} На смену!... Как бы только так же стойко, так же непримиримо стоять на этом новом, долгом-долгом, бессменном посту, как непримиримо и стойко стояли они, старые

ветераны !...

Глава III.

Тихо. Через тюремное окно неясно виднеются железные полосы решетки, расплывающиеся в черном мягком мраке. Доносятся какие-то неопределенные звуки, не то какой-то шелест, не то заглушаемый далекий стон разбивающихся о крепостные громады ладожских волн. Только отчетливо где-то наверху (Крепостные стены очень широкие — говорят, аршин в десять. Наверху устроена галерея, по которой ходят взад и вперед четверо вооруженных жандармов.) слышатся гулкие шаги, то приближающиеся, то удаляющиеся.

Под этот тихий шелест и эхо шагов пред вами снова и снова властно разворачивается прошлое Шлиссельбурга.

Краткое, но мрачное и кровавое.

Длинной вереницей проходит перед вами эта многолетняя непрерывная борьба, эти голодающие, готовые заморить себя, эти расстрелянные, стремившиеся своею смертью улучшить участь {129} оставшихся, вешавшиеся, сжигавшиеся, умершие от тоски и истощения, сошедшие с ума, оставшиеся в живых, но надломленные, разбитые, — вся эта кровавая, скорбная летопись стойкости и борьбы с одной стороны, безумного зверства и дикой злобы с другой.

Призраки, мертвые и живые всю ночь наполняют камеру, приветствуя собрата на новосельи...

Рано утром открывается форточка: — кипятки! — Нужно одеваться. Кран здесь же в камере. Клозет тоже. Выходить, значит, никуда не нужно: предусмотрительно ! Наверху, на стене, прямо против окна стоит часовая — жандарм.

Через час открывается дверь, входят два жандарма, прибавают к стене печатную «инструкцию» для заключенных в крепости — российскую конституцию, как в шутку прозвали мы эти правила.

Запрещается говорить, петь, свистеть, стучать, вообще «производить какой-либо шум».

Должно беспрекословно исполнять требования начальника и жандармских унтер-офицеров.

За незначительные проступки — по усмотрению начальника — карцер, кандалы, темный карцер. За более значительные — 50 розог.

{130} За оскорбление кого-либо из начальствующих лиц и какие-либо тяжкие преступления — смертная казнь.

У российского «гражданина» не много прав. Но странное чувство охватывает вас, когда с вас снимают «вольное платье» и облачают в арестантский халат, а вместе с тем и в официальное уже бесправие. «Арестант», «лишенный прав» — сколько раз произносишь эти слова на воле и совершенно не вдумываешься в их зловецкий смысл.

Попадая в руки «начальства», уясняешь себе все их значение. Чувство беспомощности, сознание, что в каждую минуту, из-за какого-либо пустяка, из-за мелочи можешь попасть в какую-нибудь «историю», — все время совершенно отравляет твое существование. Прекрасно сознаешь, что все зависит от тюремной администрации.

Не хочет она вызывать историй, не хочет она отравлять жизнь заключенным — все в тюрьме будет тихо и спокойно. Захочет она выдвинуться, отравить вам жизнь, сделать самое существование невозможным — и вы не поручитесь, что в любой момент, помимо своей воли, сознательно не пойдете на «историю», которая может кончиться кандалами, прикладами, {131} расстрелом, а быть может и чем-нибудь худшим... Каторжан, как кошмар, преследует существующее наказание, в виде розог. Вас могут подвергнуть телесному наказанию — вот что всегда леденящим ужасом стоит перед вами!

Конечно, вы не дадитесь. Конечно, они овладеют вами только полуживым. Но все же, пока вы в одиночном заключении, они могут вами в конце концов овладеть и эта мысль долгое время не дает вам покоя. С тревогой присматриваешься первое время к

окружающим жандармам. Что это — люди или звери? Стараешься определить каждого в отдельности, выяснить — кого надо опасаться и кто является боле невинным.

Проходить дня три, — вы никого не видите. Из камеры вас не выводят и вы все еще не знаете, где вы находитесь. На третий день в полдень, наконец, открывается камера: — «на прогулку!»

— Кое-как напяливаешь на себя халат; громокая необъятными «котами», едва сдерживая нетерпение, торопишься скорее увидеть — куда тебя поместили. Оказывается — в старую тюрьму или — на местном наречии — «сарай».

Это низкое, придавленное к земле зданье, помещенное в цитадели (крепость в крепости), шагов в 15 ширины и 50 — длины. Обои {132} концами упирается в крепостные стены. Здание очень старое, когда то служило помещением для стражи Иоанна Антоновича, камера которого находится тут же. Здание прогнившее, пропитанное сыростью и всевозможными миазмами насквозь, так что, не смотря ни на какую топку и окраску, стены моей камеры (самой темной и сырой, так как она крайняя и прилегает к наружной крепостной стене, выходящей на озеро) от пола на аршин покрыты плесенью, точно бархатными шпалерами, и с них прямо сочится вода.

В этом корпусе находится всего десять камер. Длинный во все здание коридор, с низким потолком. Черный каменный пол. По одну сторону коридора расположены камеры. В коридоре вечный полумрак. Воздух спертый, тюремный.

Гулять выводят в простенок — шагов в десять — между «сараем» и крепостной стеной. Пространство это перегороджено на две части. По середине узенькая дорожка шагов в двадцать — тут и прогулка. На другом дворик, прямо против окна моей камеры, был казнен и похоронен Степан Балмашев.

«Прогулка». Два жандарма на дворике, один с винтовкой на стене. Проходить пятнадцать минут — раздается окрик : «кончать прогулку!»

{133} Тем же путем идешь обратно. Первое время при возвращении с прогулки в тюрьму вас так и обдаёт тяжелый, промозглый воздух коридора. После нормального света на прогулке особенно давит тяжелый полумрак тюрьмы. Приходится проходить весь коридор, в конце которого имеется узенький — шага в два — уже совершенно темный коридорчик; он то и ведет в камеру.

Система заключения, надо отдать им справедливость, удивительно совершенная. Жандармы вышколены и следят друг за другом так, что никогда вам не удастся остаться хотя бы на несколько секунд с глазу на глаз. Даже комендант, жандармские офицеры и доктор не имеют права входа в камеру без дежурного жандарма. Обыски в камере постоянные. Вещей никаких нет — все на виду.

Из живого мира не долетает ни одного звука. Конечно, никаких свиданий, переписки, газет, журналов и пр. Имени нет. Номер такой-то. И удивительно быстро вы начинаете терять представление о живом мире. Однообразие обстановки, которого вы не встретите ни в одной тюрьме, невольное чувство, что в этой обители будет протекать вся ваша жизнь, отсутствие даже мысли о возможности попытки установить какие-либо {134} сношения, сознание необходимости примириться с этой изолированностью, — все это создает такую невероятную оторванность, что вы очень скоро начинаете себя чувствовать совершенно вне жизни.

Никого — кроме жандармов. Ничего — кроме каменных стен. Особенно тягостно и разрушающе действует на психику зимняя обстановка. Все — и небо, и воздух, и стены, и вы сами, и жандармы, — все покрыто каким-то однообразным серовато-белым цветом. Все сливается в одно, в какую то мертвую каторжно-серую массу.

И это чувство отсутствия жизни порою так сильно, что вы начинаете тревожно думать: — да полно, — не сон ли все то, что представляется в прошлом? Неужели действительно была эта жизнь, эта борьба, эта деятельность? ... Это не сон — все эти люди, эти товарищи, эти парии? . . . Неужели все это было? ... И так недавно? ... И вот тут, за этими стенами, действительно течет живая жизнь?... Тут, всего в двух шагах, стоит только перебраться через стену и Неву? . . . Настоящая, живая жизнь? ...

— Да, настоящая живая жизнь, — шепчет другой голос, — и никогда, никогда ее больше {135} не будет Никогда! Какое ужасное слово, когда за ним следует — навсегда! Вот эта жизнь — серая, мертвая — она теперь навсегда! . . .

И перед вами, точно пугающее призраки, вытягивается длинная бесконечная вереница дней, недель, месяцев, годов! Жутко делается и дрожь охватывает вас всего. Боги! Сколько их этих месяцев, годов!.. И все их надо «прожить», все их надо наполнить. Пять! десять! двадцать! тридцать!.... Тридцать лет! Неужели? Неужели тридцать лет?!....

Воображение начинает мучительно, болезненно работать, силясь реально представить себе эти тридцать лет, охватить их одним взглядом. Перед вами расстилается дорога — узенькая, узенькая тропинка, ведущая в гору. Тропинка все увеличивается, все удлиняется, удлиняется и вы провидите, охватываете такую невероятную даль, что у вас голова начинает кружиться и сердце тоскливо сжимается: — всю? неужели всю эту даль нужно пройти? Но как?

Как?! . .

Постепенно складывается представление и ощущение каменного гроба. Все бывшее, прежнее, истинное, виднеется в каком то далеком, неясном тумане.

{136} И чем больше оно — это прошлое — кажется безнадежно потерянным и бывшим когда то в далекие, далекие времена, тем настойчивее и упорнее возвращаются к нему мысли. «Воспоминания — бич несчастных!» Несчастных — это для нас неподходящее слово; скажем лучше — бич для тех, у кого кроме воспоминаний ничего не осталось. Все прежнее покрывается розовой дымкой. Шипы пропадают, о них забываешь, остаются и помнятся только одни розы.

Но любопытно! Преследуют воспоминания не только из жизни боевой, партийной, т. е. не только то, что составляло весь смысл и содержание жизни. В силу контрастов — в холод, в бурю, когда все заметает кругом снегом, когда в камере тускло, уныло, безнадежно мертво, — вас преследует аромат соснового леса, весенний вечер, берег реки. Встают картины бесконечно далекого, давным-давно забытого детства и через железные затворы властно, безудержно прорывается ласкающий шепот едва распутившегося леса и беспечное, звонкое детство.

Неустанно, бессменно мысли возвращаются и беспомощно бьются у вопроса: — что же там, в стране? Как война? — Заключенные, как дети. Настроения их изменчивы. То ясно, как {137} божий день, рассчитываешь, что Япония должна разбить обкрадываемую и развращаемую русскую армию, а стало быть и весь режим. Ясно, математически высчитываешь, что режим этот может продолжаться только до конца войны, а потом . . .

Яркие, обольстительные картины возрождения России сменяются тяжелыми думами: вот там — рядом сидят люди почти четверть века. И четверть века тому назад, входя сюда, они наверное так же ясно представляли себе и верили в близость и неизбежность крушения строя, как веришь ты. А между тем — юноши превратились в старцев, а этот строй все еще держит их в своих каменных объятьях. Где гарантия, что мы теперь так же не ошибаемся, как ошибались тогда они?

Конечно, режим осужден на смерть; конечно, он умрет, но что значит в истории страны четверть века?!..

Помню, как-то раз, в октябре-ноябре видел вскользь коменданта; меня как ножом полоснуло: к старому пальто пришиты новые пуговицы с орлами.

Несколько дней ходил как убитый, никак не умея разгадать тяжелую загадку: по какому поводу жандармы получили «государственный {138} герб» на пуговицах. Если им дано такое отличие, значит, жандармы в силе и славе, — значить свобода по старому в бессилии и поношении. Увидишь, что жандармы что-нибудь собираются чинить, — снова «душа опускается», — значить собираются еще долго существовать, значить завтрашний день еще не принадлежит нам, если они о нем думают.

Наоборот, увидишь грустные, тревожные лица, смущение и раздумье дух снова взлетает к небу, снова ясно видишь, что Россия вот-вот должна быть свободна и будет свободна. Десять раз на день сменяются эти настроения. Вся жизнь протекает в

бесконечном мире фантазий и гаданий: внешняя жизнь ограничена камерой, коридором и тропинкой в двадцать шагов для прогулок.

Так или иначе «жизнь» входит в колею. Трудно сказать: ты ли приспосабливаешь жизнь, жизнь ли приспосабливает тебя, — но слияние происходит. Входишь в курс шлиссельбургской жизни, ее интересов и забот, ее радостей и печалей.

Радости и печали, особенно радости, не весьма крупного размаха. Но надо быть «бессрочно заточенным», чтобы понять, как такие, казалось бы, мелочи играют такую большую роль в жизни {139} заключенных. И в этом то вся трагедия!

Сколько, например, пережито дней тревог по вопросу, дадут ли кусок мыла? И с какой восторженной радостью вы, стараясь скрыть эту радость, хватаете из рук жандарма выданный маленький кружечек мыла. И когда вы полученным мылом намыливаете руки и любуетесь как много грязи стекает в раковину, жизнь кажется такой легкой... «Ничего, жить можно . . . собственно, не так оно уж и плохо!» . . .

Но вот портянка истрепалась; на двор холодно, ноги мерзнут на прогулке. И эта истрепанная портянка вызывает целый ряд мрачных мыслей, служить причиной уныния многих дней.

Единственный живые существа, с которыми сводишь совершенно бескорыстную дружбу, — это воробушки и галки. Зимой, очевидно вследствие недостатка пищи, они делаются удивительно уживчивыми. В несколько недель их так приучаешь к себе, что они принимают пищу прямо из рук, садятся на колени, на плечи и пр.

Странную, вероятно, картину представляла бы для «наблюдателя с небес» эта дружба: высокие крепкие стены, вооруженные жандармы и {140} в арестантской. халате преступник, миролюбиво делящий трапезу между воробушками и галками ...

Глава IV.

Постепенно ухо настолько привыкает, что разбираешься во всех звуках, от поры до времени раздающихся в тюрьме. Иногда издали доносится слабый заглушаемый звук ударов молота о наковальню. Очевидно, это «старик» где то работают в кузнице.

Значит мастерские опять открыли?

И кузница кажется тебе верхом счастья. Есть же такие счастливы, с невольной завистью думаешь о них, представляя себе этих старцев, бьющих молотами раскаленное железо . . .

Кипяток и обед разносятся жандармами и передаются через дверные форточки.

Как они ни стараются проделывать это незаметно, в конце концов выясняется, что в камере, помещающейся в противоположном конце коридора, кто-то сидит. Очевидно больной, так как слышишь, что туда часто ходит доктор. Кто бы это мог быть?

{141} Не иначе, как Качура, делаешь заключение (Потом уже, когда Шлиссельбург был расформирован, узнали, что там с 1902 г. сидел несчастный Чепегин, сразу надломившийся. Он заболел — развилась цынга и тихое помешательство. Теперь, говорят, его перевели в Валаамский монастырь.). В первых числах января заключенный исчез. Уж не повезли ли его опять на суд для новых оговоров ? !

Через несколько недель начали усиленно топить две боковые камеры, расположенные с другого конца коридора. — «Новые заключенные? Жертвы оговора Качуры?» — Внимательно прислушиваешься к малейшему шороху, стараясь не пропустить момента появления новых жильцов, если таковые действительно ожидаются.

29-го января (1905 г.) с утра заметно было какое то необычайное движение: что то прибывали, что то выносили, что то чистили. Весь вечер простоял, приложив ухо к двери. Часов в восемь вдруг слышится, как громыхают железные затворы входных дверей. Через несколько минут — гул шагов и ясно выделяющейся стук «котов» о каменный пол. Потом все стихает; слышно, как запирается камера и снова удаляющиеся шаги. Минут через {142} пятнадцать та же история. Значит — привезли двоих. Но кого? Расплата ли это за старые дела или же за новые? Делаешь всевозможные усилия, чтобы хоть приблизительно узнать,

кто эти вновь привезенные, — но все напрасно.

Время идет. Никаких вестей, никаких перемен в положении. Потянуло теплом. Начало таять. Громадные сугробы снегу, которыми был завален дворик, сереют и уменьшаются. Воробушки неистово чирикают и воркуют парочками. Уже год после суда. Странно! Безнадежно медленно тянется настоящее, т. е., переживаемый день. Но прожитое как будто валится в пропасть. И оглядываясь назад, невольно спрашиваешь себя : «неужели уже год прошел?»

Чем дальше дело идет к весне, тем отвратительнее и нестерпимее в камере. Стены окончательно отсырели, и даже масляная краска, которой покрыт низ, размякла в тягучую слизкую массу. Сырость такая, что соль в солонке расплывается. Топка не помогает. Сколько времени будут здесь держать? Любопытно, что даже при Толстом «сарай» служил только карпером. Больше 2-3-х недель в самые мрачные времена Шлиссельбурга там никого не держали. Плеве распорядился вновь прибывающих выдерживать в чистилище. Но сколько держать {143} — это, конечно, в полной власти департамента полиции.

Доведется ли увидеть «стариков»? Ведь если к ним применили манифеста 11-го августа 1904 года — а казалось совершенно невозможным, чтобы к людям, просидевшим свыше двадцати лет, он не был применен, — они все должны быть уже вывезены, и в Шлиссельбурге из «стариков» мог остаться только один Карпович.

С унтерами-жандармами жил в ладу, но узнать все таки ничего не мог. Хотелось попытаться только одного: взят ли Порт-Артур или нет? Никакими хитростями выманить известие не удавалось. И только уже летом одного вояку удалось таки обойти. Был знойный праздничный день. Жандармы только что сменились на дежурстве!. Очевидно, побывали в гостях и размякли.

Настроение благодушное. Мы — «на прогулке». Воробушки забрались в кустик и чирикают.

— А ну, давай, поймаем, — говорит один. Лег на брюхо и, крадучись хочет незаметно подобраться к птичке.

— Вот бы вас, говорю: назначили на место {144} Куропаткина; пожалуй, сцапали бы японца, как воробушка, а?

— Что ж, пожалуй, и назначут. Как раз мое место!

— Ну, теперь то уж поздно. Куропаткину то Порт-Артур просвистеть, выгурить оттуда японца, пожалуй, что и не удастся?

— Чего просвистел? Нешто Куропаткин виноват, коли ему солдат не доставляли? Японцам то рукой подать, а наши пока добрались, крепость то и пришлось сдать, отстаивает унтер честь воинства.

— Ну, ничего! Стессель сдал, — на то он и генерал ; вы опять возьмете, успокаиваешь его, а сам весь дрожишь : пал Порт-Артур!! ...

Две победы: одна, одержанная мною над российским жандармом, другая — одержанная японцами над российским непобедимым воинством долгое время держат в приподнятом настроении. Пал Порт-Артур — падет самодержавие, — таков лейтмотив твоих мыслей. Больше к сожалению узнать ничего не удалось, так как потом, очевидно, жандармы спохватились, что попались на удочку, и разговоров о войне не поддерживали. Удалось только узнать, что война еще не кончилась и что «хвастать нечем».

{145} Самой жизни в Шлиссельбурге описывать не буду: об этом писалось уже достаточно людьми, более меня компетентными. Я коснусь только тех сторон, которые не могли быть затронуты другими.

Чем дальше подвигалось время, тем все усиливалась тревога: переведут ли когда-нибудь в новую тюрьму или так здесь в чистилище и будут держать до окончания веков или . . . самодержавия? Со дня приговора прошло уже больше года, а говорили, что по истечении этого срока предполагают переводить на общее положение. Но пока что ничего не слыхать было.

В конце июля неожиданно является в камеру комендант и, в нарушение всех правил (По инструкции в камере с глазу на глаз о заключенным никто не в праве оставаться.), высылаёт дежурного жандарма. Дверь закрывается и комендант совершенно конфиденциально сообщает такую загадочную историю.

— Мне, — пока еще секретно — сообщили, будто департаменту полиции стало известным, что вы переслали какое-то письмо отсюда. {146} Производится следствие. Конечно, вы можете мне ничего не отвечать, но я все-таки решил прямо спросить у вас, чтобы я знал, как приблизительно себя держать . . .

— При других обстоятельствах я бы, полковник, конечно, ничего вам не сказал, но теперь я могу сказать: для меня ясно, что тут интриги Плеве и департамента полиции. К сожалению, я никакого письма не посылал. Просто хотят что-нибудь придумать, чтобы иметь возможность «в наказание» держать еще в этом сарае . . . Это как раз похоже на Плеве.

— Да, это был большой иезуит, вырвалось у коменданта.

«Был?!» — Тревожные мысли забегали в голове: чувствую, что комендант сболтнул и теперь ему не по себе; удастся ли что-нибудь узнать? Делаю вид, что не обратил внимания на его слова. Заговорили о курьезной истории с письмом

(Я, действительно, никакого письма не передавал. Правда, позже, в Бутырках уже, я узнал, что в декабре 1904г. петербургский брат утром нашел у себя в ящике для писем конверт с запиской «ваш брат Г. А. шлет низкий привет. Он в Шлиссельбургской крепости. Чувствует себя хорошо и бодро. Будьте покойны». — Для родных, которые никак не могли в департаменте полиции добиться даже известия, где я и жив ли, записка эта принесла много радости и успокоения, но я и по сейчас не догадываюсь, кто был этот доброжелатель. Дело он сделал хорошее. Быть может, когда настанут лучшие дни, он откроет свое инкогнито. Не думаю, что теперь речь шла об этой записке.)*[может –быть это был Азеф, который был связан одинаково тесно с обеими сторонами — и с революционерами и с полицией?? LDN]*, о курьезах вообще, перешли на {147} министров, и между прочим спрашиваю: министром внутренних дел теперь ведь уже не Плеве?

Комендант несколько замаялся, но все же сказал: — «да, теперь уже другой на его месте».

— А Плеве, что ж, другой пост получил?

— Да, знаете, как обыкновенно . . . что то, кажется, за границу поехал, что ли ...

Комендант ушел; и для меня настали дни, полные жгучих тревог... «Плеве ушел !»

Тяжесть удара для Партии казалась невероятной. Человек проклинаемый и ненавидимый всей страной, воплощение деспотизма и насилия, беззастенчивого глумления над лучшими чувствами народа, — ушел и все его преступления останутся безнаказанными ! ...

Его жизнь казалась оскорблением общественной совести и вечным укором Партии . . .

Не успело еще улечься это тревожное состояние, как через несколько недель получил, с {148} разрешения коменданта — «сельскохозяйственный журнал «Хозяин» за 1904г.»

Свежий журнал!!! (Опоздание на 1/2 года в Шлиссельбурге не уменьшает даже у сельскохозяйственных журналов свежести.)

Первую минуту все в голове перемешалось. Руки дрожат, бросаешься от одного номера к другому, точно проглотить желая все сразу. Читаешь не словами, не строками даже, а целыми страницами. Падение Порт-Артура ! Еще какие-то неудачи. .. банкеты . . . заявления ... протесты ... Весна ! Весна какая-то наступила ! ! ! Указ 12-го декабря... На этом обрывается. . .

Так вот оно что! Значит, сорвало таки плотину ! Снесло таки!...

Журнал специальный, сельскохозяйственный. Только в ядовитых обзорах Энгельгардта стараешься изловить что-нибудь, для Шлиссельбурга запрещенное. Плеве где? что с Плеве?!.. Наконец, в какой то заметке вскользь попадает фраза: «печальное наследство покойного Плеве...» Покойного?! Плеве умер?! В сентябре прошлого года?! Охватившее тебя волнение не поддается никакому представлению. Сам умер?!... Так,

свершив в пределах земного все земное опочил ?

{149} Ведь если вся эта весна — результат не непосредственного напора общественных сил, революционных организаций, а так . . . «признания за благо», временной растерянности и платонического желания испытать новые пути, когда «крамола побеждена», — то ведь все это гроша медного не стоит, а революционные силы отодвигает в сторону ... А может быть . . . может быть, умер то не волею божией, а волей Партии?... И упорно, настойчиво ищешь целыми днями, не найдется ли хоть малейший намек, почему Плеве оказался покойным? ... Десяток раз просматриваешь все номера — никаких указаний.

Настали самые тревожные дни. Чувствуется, что там — на воле — разыгрывается нечто бесконечно, бесконечно громадное, но что, именно, происходит — даже приблизительно не можешь себе реально представить. Что-то начинается! Но кто начинает? Какова степень участия сознательных сил? сознательно разрушающей и сознательно созидающей? Какова роль и влияние Партии?! . . . Год прошел с появления «весны»; что же там теперь? Ведь если бы за «весной» последовало «лето» — нас не было бы уже здесь ... значит, опять после минутного просвета, — тот же мрак?!....

И таком мучительном состоянии прошло **{150}** шесть недель, каждый день которого казался целой вечностью. Срок перевода в новую тюрьму давно истек. Неужели так и не переведут? !..

13-го сентября является комендант. Жандармы уходят и запирают за ним дверь. Комендант необыкновенно радостен и лучезарен.

— Ну, г. Г., привез вам приятное известие: после долгих моих хлопот удалось добиться у министра разрешения перевести вас в новую тюрьму.

— Когда?

— Да сейчас! Вот только камеру приготовят там.

— Это, действительно, приятное известие! Значить, чистилищу конец!

— Конец, конец! Да многому, знаете, теперь конец!

— Например?

Пауза. Комендант о чем-то думает, как бы не решаясь начать говорить; у арестанта душа застыла от трепетного ожидания.

— Большие перемены! Новый строй идет!

— Новый строй?

— Да! Созывается Государственная Дума, — знаете, вроде парламента... Коротко говоря — конституция...

{151} — Конституция?! Скажите, полковник, японцы то, вероятно, здорово нас вздули?

— Здорово, батюшка, здорово! — безнадежно машет рукой комендант.

— А конституцию то, что же, Плеве дал?

— Плеве?! Полковник наклоняется и говорить тихо на ухо: — на куски разорван! . .

— Как! Убить? Кем? ...

— Да вот рядом с вами сидит — Сазонов. . . бомбу бросил все разнесено

— И Сазонов жив, не казнен?

— Времена, батюшка, не те! . . .

— А потом как? . . . все успокоилось? Больше террористических актов не было?.... Сюда то никого больше не привозили? А казней тоже не было?

— Нет, казней не было. Кажется, все спокойно.

— А как же теперь-то все таки, полковник? Ведь конституция то выходить вещь и не такая уж дурная? Но ведь мы то тут тоже кой чем потрудились ? И нашего, пожалуй, тут капля меду есть....

— Да, кто спорит? ... Ну, шла борьба; теперь вот признано своевременным! Что ж, можете теперь испытывать чувство удовлетворения..... а там видно будет.

{152} — А война как? Кончилась?

— Слава Богу, кончилась !

— Значить, конец войне и внешней и внутренней Теперь все по новому пойдет ?

— По новому, по новому! Большие перемены пошли, многозначительно повторил

полковник.

— Ну, теперь соберите вещи, приготовьтесь. Через час придет помощник — переведет вас. Там лучше будет.

Комендант ушел, я остался один. И снова, как полтора года назад, после ухода Остен-Сакена, объявившего, что «жизнь дарована», сердце замирает под напором чего-то бесконечно, бесконечно большого. В сущности, это — та же «жизнь дарована», только в неизмеримо больших размерах. Судьба сжалилась над несчастной страной. «Жизнь дарована» великому народу. Конечно, не дарована, а вырвана, но не в том теперь вопрос. Теперь жизнь сохранена, теперь можно в России жить!

В груди точно молоты бьют. Дыхание порывисто — не хватает воздуха. Руки дрожать и трепетно сжимают голову, охваченную вихрем мыслей.

Плеве взорван ... Сазонов жив и здесь ... Армия разбита.... Государственная Дума... Конституция ... Новая жизнь ... И это не во {153} сне?!.. И до всего этого дожил! Дожил! ... И собственными глазами увидишь обновленную, освобожденную Россию! ... Он говорит: казней больше не было ... все успокоилось . . . значит, они — правительство — поняли, наконец, свое безумное упрямство? Сдались или стерты народным напором? Новая жизнь ... а вот эти павшие бойцы, которые лежат в ямах тут, за стеной, они уже этой новой жизни не увидят!

Но ... забвение . . . забвение! ... «Новая жизнь?»

И уже действительно в России можно будет жить? Уже не нужно будет убивать? Уже не нужно будет умирать за убийства? Настал уже этот благословенный момент?.... Проклятая нами кровавая борьба, возложенная па наши плечи проклятым кровавым режимом, настал таки ей конец?.... Револьвер и бомба могут уже быть оставлены там, за порогом этой новой жизни, как мрачное наследие мрачного бесправия, как мрачное орудие защиты от дикого произвола и насилия властных и сильных над бесправными и слабыми? Кончилось все это? Истерзанная родина не требует уже больше жертв? Кроткие и любящие не вынуждены уже будут брать в руки кровавый меч?....

{154} Слово правды и справедливости заменило, наконец, бойцам за счастье и свободу трудящихся револьвер и бомбу?.... И все это уже случилось ? И там, на воле, за этими стенами, *уже* все это есть?!....

Но погибшие? Но измученные и павшие в казематах, в сугробах Сибири, в рудниках? Все эти жертвы сверженного теперь чудовища, их как вернуть? И эти сотни тысячи разбитых молодых жизней, и все темным мраком веками висевшее над страной?! ...

Забвение! Забвение! ... Голоду, холоду, векам рабства и угнетения, тьме и невежеству, грабежу и насилию, всем преступлениям, сытой и злобной власти над народом — забвение!

Но вечный позор! Но вечное проклятое режиму, вырвавшему из наших рук и сделавшему бесценным слово и мирную работу и заставившему взять кинжал и револьвер! Но вечный позор и вечное проклятое им, — жестоким, безжалостным, десятилетиями превращавшим агнцев в тигров, и толкавшим на путь насилий и убийств тосковавших и жаждавших мирной созидательной работы!

Проклятое и позор: тут забвение преступно! И пусть в сознании потомков и на страницах истории горит, как печать Каина, клеймо {155} позора и проклятая на преступном челе преступного режима! И пусть никогда не меркнет эта надпись: «вот чудовище, делавшее убийцами лучших детей страны!»....

Глава VI.

Прошло около часу, пока явились жандармы, чтобы переводить в новую тюрьму. За этот час было пережито столько, сколько в нормальное время в год не переживешь. В одиночества такое состояние, кажется, совершенно немислимо перенести безнаказанно. Разнообразнейших и сильнейших впечатлений так много, что вы должны — во что бы то ни стало — с кем-нибудь длиться ими.

К счастью это совпало с моментом, когда самое радостное было еще впереди: свидание со стариками. В. Н. Фигнер, к которой мы, новое поколение, относились с благоговейной любовью, М. Ю. Ашенбрер и В. Иванова, по словам коменданта, уже с прошлого года нет. Остальные еще здесь, чему в первую минуту, каюсь, несказанно обрадовался (Я думал, что к ним применили манифест 1904 г. и все уже выпущены на поселении.).

{156} Было три часа дня. На двор стояла теплая осень — «бабье лето».

— Глаза завязывать будете? — ядовито спрашиваешь у офицера.

— Как так?

— Да сюда то с завязанными глазами волокли!

— Ну, то другое дело было, смущенно отговаривается он.

Приходится проходить мимо камеры Е. С. Сазонова. Нарочно, как будто споткнувшись, останавливаешься на несколько секунд. Говоришь громко, чтобы в камере слышно было.

— Теперь то, после конституции, не грешно и этих двух перевести к нам в новую тюрьму! Там бы все вместе и ждали лучших дней....

Выходим на большой двор старой тюрьмы, с непривычки кажущийся необычайно громадных размеров. Двор окружен со всех сторон высокими стенами цитадели. Отсюда «сарай» имеет вид невероятно жалкий, пришибленный, — точно вдавленный в землю. Минуем ворота, вделанные в неимоверной ширины стене. На следующем дворе «новая» тюрьма. Длинное двухэтажное с железными решетками здание. По средин подъезде. Входим во внутрь **{157}** тюрьмы. Постройка крайне оригинальная. Этажи разделены не потолком, а плетеной веревочной сеткой, напоминающей гамак. По обеим сторонам стен расположены камеры. В уровень пола второго этажа тянется узенькая, аршина в полтора, галерея. С каждого пункта, таким образом, вся внутренность, как на ладони. Камеры все запорты. Тихо. С непривычки тебе все кажется, что свалишься с галереи на сетку.

— Пожалуйте, вот сюда !

Камера небольшая — шагов пять в длину и четыре в ширину, но довольно светлая и чистая. Железная койка, решетки, все как обыкновенно. Но сразу поражает давно уже не виденное: в одном углу — деревянная этажерка, в другом — дивной резной работы стул.

— Теперь заключенные чай пьют; через час начнется прогулка. Хотите, может быть, повидать старосту? — спрашивает офицер.

— А кто у вас староста?

— Да из ваших же — Карпович (Для хозяйственных дел тюрьма выбирала своего старосту. Выборы производились каждые полгода. В это полугодие был П. В Карпович.).

— Карпович ? Пожалуйста, очень рад буду!...

{158} — Ну, подождите, я пойду предупредить.

— Неужели поведут к Карповичу? — думаешь с недоумением, как то все не веря, что бесконечное одиночество уже кончилось.

— Пойдемте ... вот тут ... осторожно, не споткнитесь.

Предупреждение не лишнее, так как от волнения ноги дрожат и не держат. Жандарм распахивает железную дверь и предо мной с громадной черной бородой Карпович . . .

.....
С полчаса мы были, как безумные, т. е., не мы, а я. Речь перескакивала без всякой связи, без последовательности. Всякий торопился скорее передать свое. На меня как дождем посыпалось: флот разбит вдребезги ни одного суденышка не осталось. — Победы, неужели ни одной победы наши не одержали? — Какой там черт, победы! Биты-биты, бить надоело японцам . . . Мукден, Ляоян, Цусима Офицерство — полное ничтожество ... Воровство, разврат.. .

— А в стране?

— В стране? Кавардак. Все к черту летит. Черноморский флот взбунтовался, утопил офицеров и явился обстреливать Одессу.

{159} — Армия? Полная деморализация! Солдаты презирают офицеров, офицеры не доверяют солдатам....

— Революция? Одна казнь здесь была . . . Комендант говорит не было? Врет! В мае была. Мы знаем. Кажется, в связи с покушением на Сергея, точно разузнать не удалось. Дума? Мошенство, больше ничего. Выеденного яйца не стоит. У нас есть манифест, можно будет получить. Но, кажется, требуют больше, и правительство вынуждено уступить.

— Сколько нас здесь осталось? Восемь человек. Да постой, надо простучать. Летит телеграмма (стучком в дверь — для всей тюрьмы) : «Г. переведен. Бодр. Обнимает. Будет на прогулке». Через несколько секунд ответ: «Поздравляем. Добро пожаловать. Сейчас увидимся».

— Кого можно будет сегодня увидеть? Я хотел бы Г. А. Лопатина: у меня есть для него поклон от его сына.

— Да всех увидишь . . .

— Как всех? Ведь у вас тут гуляют по два?

— Ну, нынче, как японцы вздули там их, и здесь стало лучше. Всех увидим. В четыре часа отпирают на прогулку.

{160} Прямо против входа в тюрьму — одноэтажное здание кордегардии. Там всегда под ружьем караул из двадцати жандармов. С правой стороны крепостные стены. Половина пространства между этими стенами и тюрьмой занято огородами или — на тюремном наречии — клетками. Это разгороженные досками квадратики шагов в двадцать длины и 10—15 ширины. Узенькая тропинка отведена для гулянья, остальное — надел для полеводства, садоводства, огородничества и пр. С одной стороны перегородки упираются в крепостную стену, по которой ходит часовой, с другой — в забор, к которому приделана галерея. По этой галерее ходит дежурный унтер-офицер. Клетки снаружи запираются. Каждая клетка отведена на двоих. Имеется еще и большой огород, где в последнее время отвоёвывали право гулять вчетвером.

Когда мы с Карповичем приблизились к клеткам, к нам бросились навстречу «стариками». В безобразном арестантском одеянии, кто в сером, кто в белом (На лето том выдается «дачная пара» куртка и штаны из холста.), большинство седые, как лунь, но с яркими ясными глазами.

{161} Собственно это было большое нарушение тюремной дисциплины. Но привод «нового» — это в Шлиссельбурге такая редкость; там — на воле «послабело», жандармы, казалось, сами находились под радостным настроением встречи новичка со стариками, так что несколько минут, беспорядочными перекидываясь отрывочными фразами, стояли все вместе «скопом». Решено было собираться на прогулках в большом огороде вчетвером по очереди. Прогулки сегодня остались с четырех до шести. За эти два часа со всеми перезнакомился.

Они, оказывается, в самых общих чертах знали уже о последних событиях. Совершенно случайно, благодаря разным обстоятельствам, в тюрьму проникали (с ведома администрации) известия о неудачной войне, о каком-то неопределенном движении в стране, о Думе 6-го августа и еще несколько отрывочных данных.

О всем периоде с 1901 г., т. е., с момента появления П. В. Карповича, — о постепенном росте движения, об участии крестьянства, о террористической борьбе, о партийных группировках, о самой П. С.Р., — не имели почти никакого представления. В течение долгого времени целые дни проводили в большом огороде, передавая друг другу новости: они — о том, что **{162}** делалось здесь, я — о том, что делалось там — в далеком, далеком для них мире.

Из стариков к этому времени осталось восемь человек: Л. П. Антонов, С. А. Иванов, Г. А. Лопатин, И. Д. Лукашевич, Н. А. Морозов, М. В. Новорусский, М. Р. Попов и М. Ф. Фроленко.

Не буду говорить о том совершенно исключительном настроении, в котором находился со времени перевода в новую тюрьму и свидания с «стариками». После беспросветного мрака и одиночества в течении 2½ лет — все представлялось каким-то волшебным сном. Там — на воле — крушение старого строя. Как далеко это крушение пошло — неизвестно; но оно началось, а начавшись, остановиться не может. Теперь мы

уже не побежденные, — теперь мы победители, до заключения перемирия находящиеся в плену.

С непривычки все поражало в новой обстановке. Режим к тому времени ослаб. «Петербургу» было не до того, местная администрация, очевидно, тоже со дня па день ждала «больших перемен», и жизнь заключенных не отравлялась придирчивыми мелочами, обыкновенно создающими ад в тюрьме. Это «ослабление» режима в Шлиссельбурге было тем ценнее, что вообще там режим служил точным политическим {163} барометром положения на воле. Малейшие изменения «там» сейчас же давали себя чувствовать здесь.

За двадцать лет заключенные, конечно, накопили массу всевозможных вещей. В мастерских работали годами. Делали шкафы, стулья, этажерки, вешалки, сундуки, всевозможные коллекции, гербарии, набивали чучела и пр. и пр. Все это скопилось в камерах и последние принимали более жилой вид. После «образцовой» тюремной обстановки в Петропавловской и «сарая», где ничего, кроме стен и решеток — не было, эти камеры производили впечатление кабинетов ученых.

Глава VII.

Есть еврейская сказка : «Сказка о козе». Жил в одном городе бедняк Шодем. Совсем не было у него денег, но зато была большая семья и очень маленькая хата. Был он тряпичником, а жена держала козу. Детей неисчислимое множество. Так много, что в маленькой хате даже поместить нельзя было всех и часть ночевала у добрых соседей. Мешки с тряпьем разбирались на дворе; там же под навесом стояла и коза. Скверная была жизнь, неумогу от тесноты и грязи.

{164} Слышал Шодем от добрых людей, что на слободке живет великий ученый, святой муж великого ума. Такого великого ума, что всех несчастных наставляет, как быть счастливыми. Порешил Шодем пойти к святому мудрецу просить у него совета, как поступить, чтобы жить можно было. Рассказал Шодем про всю свою жизнь, как есть нечего, как поместиться негде, как от духоты болеют дети, как со двора идет в хату смрад от разбираемого мусора, как коза мало молока стала давать, так как спит на голой земле и пр. и пр. Все рассказал, а мудрый раввин выслушал.

— Ну, что скажете, равви? Есть у Бога для меня милость?

— Будет хорошо. Иди домой. Собери всех детей и впредь, чтобы не ночевали у соседей.

— Равви! И так даться некуда! — робко возражает Шодем.

— Будет хорошо! Делай, как говорят. Привел на ночь Шодем детей. Дети плачут, в хате стон стоит. Никто не спал.

Идет Шодем к равви.

— Ну, как?

— Да будет благословен Бог и святое имя его, но плохо, равви! Еще хуже стало!

{165} — Внесите мешки с тряпьем в хату и там разбирайте.

— В хате разбирать тряпки?!...

— Будет хорошо; делай, как говорят. Стал Шодем в хате разбирать тряпки, кости, мусор. Пошел смрад и вонь — дышать нельзя. Старший мальчик с досады и злости разбил стекло, чтобы хоть несколько свежий воздух проникал. Что делать? Надо идти к равви.

— Ну, как Шодем?

— Сто лет вам жить, равви, — плохо !

— Вставь стекло. Не держи козу на дворе, введи ее в хату, — там пусть будет с вами день и ночь.

— Козу в хату?!... День и ночь?!...

— Будет хорошо! Делай, как тебе говорят.

Уныло и понуро идет Шодем домой. «Что мы — темные люди — можем знать?

Должно быть, так лучше ! Ведший мудрец, — он ведь все знает».. — покорно думает Шолем.

Ввел в хату козу. Не жизнь — ад начался. Дети расхворались, целые дни ревмя ревут. Лежат вповалку. Жена голосит: «лучше пусть Бог возьмет к себе! Нет уж сил!» — Коза наполняет всю хату. Куда не {166} повернешься — всюду она. В довершение всего коза перестала давать молоко....

Шолем был человек совестливый. Как великому мудрецу досаждают своими невзгодами?! Терпел, терпел, но не выдержал — постучался к равви.

— Ну, как?

— Да будет благословенна мудрость ваша, равви ! Не знаю уже, на каком мы свете! Да не прогневаешь на нас Бог — совсем жить стало нельзя. Сжальтесь, равви!

— Поговори с добрыми соседями; попроси, чтобы разобрали детей на ночь, а потом приходи ко мне.

«Разместить детей по соседям? Это хорошо! — весело думает Шолем: — это очень хорошо!...»

Разместили детей. В хате стало свободней. «Видно не напрасно люди считают равви мудрым» — говорит Шолем — «надо пойти поблагодарить».

— Ну, как Шолем? — приветливо спрашивает равви.

— Теперь хорошо! Много лучше! — весело говорит Шолем.

— Вот видишь! А ты роптал на, Бога. {167} Теперь вынеси тряпки на двор и там разбирай! — Потом приходи опять.

«На дворе разбирать тряпки! Какой мудрец! Прямо золотая голова. Это у нас настоящей рай теперь будет! Вот старуха то обрадуется!...» Мчится Шолем домой — откуда только силы и бодрость взялись!

Сидят вечером после работы Шолем с женой и любят, и благодарят Бога за милость и доброту: «вон как хорошо стало! Ни пыли, ни мусору, ни миазмов от тряпок! Коза вот только как будто в хате себя плохо чувствует, да и беспокойно от нее», робко думают «счастливы», стыдясь своей «неблагодарности» и «жадности». Надо идти благодарить равви.

— Ну, как, Шолем?

— Ах, равви, так хорошо, так хорошо, теперь уж и не знаем, как благодарить ! Вот только....

— Коза, Шолем? Ты хочешь сказать на счет козы? Выведи ее на двор и поставь на старое место.

У Шолема взыгралось сердце. «Какой мудрец! Какой мудрец! Вывести козу! Да ведь это рай нам будет теперь! Старуха то! Старуха как обрадуется!...»

Поставили возу на старое место. Стоят {168} Шолем и старуха друг против друга. На душе жаворонки поют. «Не сглазил бы кто», — со страхом шепчут они, думая о своем счастье. «Вот жизнь то когда настоящая настанет! Праздник и ликование!...»

«Велика к нам милость Бога», — думают старики.

Глава VIII.

Такова еврейская сказка. Такова жизнь. Такова жизнь в Шлиссельбурге.

Отнято было все. Лишен был всего. Когда попал в новую тюрьму, где кое-что было возвращено, где нелепые лишения были уничтожены, — все казалось раем.

«Коза выведена» — и я понял счастье Шолема, понял, почему у него на душе пели жаворонки.

Я уже отмечал, как мелочи, ничтожные, незаметные «на воле», могут служить источником больших радостей и больших печалей в тюрьме, где чудовищно бессмысленный режим лишает заключенных всех приобретений культуры. Возьмем, казалось бы, такие пустяки. Пища в последнее время была в Шлиссельбурге сносная, но в «сараях» ее подавали в {169} грязных вонючих судках. Ножа и вилки нет. Мясо — вареное и

жареное — приходится терзать руками. И каждый раз, когда подают еду, как о величайшем, но недоступном счастье, мечтаешь о ноже и вилке И вдруг в новой тюрьме вы узнаете: добились разрешения на день иметь столовый нож (с обязательством сдавать на ночь)! Что сравнится с тем блаженством, которое испытываете вы, когда кладете мясо на тарелку — на настоящую тарелку — и не разрываете уже руками, а разрезываете ножом — настоящим ножом! И для чаю вы уже имеете стакан! И размешивать чай вы уже можете не сорванной с дерева веткой, а ложечкой, — и многое, многое — всего не перечесть, вплоть до права на ночь гасить огонь!...

Конечно, ужас положения и виден из того, что эти мелочи могут играть такую большую роль, но на первых порах возвращение этих «прав» доставляет много радостей.

Отношены в тюрьмах, вообще, особенные. Не такие, как на воле. С одной стороны насильственное соедините людей в одних стенах создает острую почву для всевозможных трений. Тюрьма, неволя обычно выдвигают наружу все отрицательные черты человеческого характера и обильно питают их. Лучшие {170} стороны обыкновенно не находят себе применения и тлеют, покрытые пеплом неволи. Как общее правило, можно сказать, что в тюрьме те же люди хуже, чем на воле. Но зато, с другой стороны, тюрьма знает и такие теплые, полные любви и сердечности отношения, такие мягкие, участливые, каких не встретить в обычной обстановке.

В условиях Шлиссельбурга, конечно, эти отношения принимают особенный колорит. Появление нового человека так редко. Душа так изголодалась и исголодалась, с одной стороны, — с другой, у вновь прибывшего столько чистого почтительно-благоговейного чувства к «старикам», что создается теплая атмосфера взаимной симпатии и сильной привязанности. Вновь прибывающий чувствует себя гостем у радушных и любящих родных.

«Хозяева» наперерыв стараются окружить его «всем, что лучшего в жизни рок им дал». Кто тащить шкаф, кто письменные принадлежности, кто вешалку, кто ножичек, кто книги, кто варение собственного изготовления, кто цветы, кто свежую репу, кто сахарный горошек, кто зашивает бушлат, кто тачает вместо «котов» самодельные туфли...

И эти выражения братского нежного внимания, {171} эта участливость и чуткость озаряют на первых порах тюремную жизнь таким мягким светом, что все прежнее мрачное, безобразно тяжелое как то расплывается и временно отходит. Чувство какой-то неловкости, виновности охватывает вас, когда смотрите на этих старцев. Подумать только: некоторые из них по двадцать пять лет (М. Р. Попов, М. Ф. Фроленко и Н. А. Морозов) замурованы в застенках и только двое (И. Д. Лукашевич и М. В. Новорусский) по 18 лет. Остальные по 21—22 года.

Свыше 20 лет! Вся жизнь, проведенная в безнадежном одиночестве, в отсутствии каких-либо вестей с воли! И «воля» все время казалась такой мертвой, такой безнадежно мертвой Как поддерживать в себе непрерывно веру в торжество идеи и как жить без веры в это торжество?! И так двадцать с лишним лет!...

И эта борьба со злым врагом, упорная, непрерывная, как ржавчина раздающая душу и подтачивающая тело! Все, чем теперь владеют: вот этот стул, эта тарелка, эта книга, какой это куплено страшной ценой! За все это заплачено такой массой мук и крови! И это все тебе достается так просто, как дар друзей.

{172} Только вошел в Шлиссельбург и уж тебя встречает весть, что чудовище ранено, вот, вот истечет кровью.

Тех, мрачных, как ночь беспросветных годов сомнений в торжество дела, — что бы ни было впереди, — нам уже не переживать

Глава IX.

Так шли дни. Мы переживали «медовый месяц». Слова и думы все чаще и чаще, все настойчивее и упорнее возвращались к «тому» — к воле.

Что же, в конце концов, там происходит? Толком ничего не знали. Офицеры

отделялись общими фразами, от унтеров ничего выжать не удавалось. Знали, что убийство Плеве встречено было со всеобщим ликованием. Знали, что за убийством последовал необычайный общественный подъем, закончившийся декабрьской «весной». Знали, что сейчас же, за этой «весной» опять наступил какой-то поворот в сторону реакции, что последовали какие-то волнения, затем какие-то «великие акты» 18 февраля.

Но какие волнения, что за акты и в какой связи они стоят с волнениями — оставалось загадкой.

{173} Самое важное для нас было знать — результатом чего собственно является Дума 6-го Августа? Общего, неопределенного недовольства страны, сознанный необходимости «реформ», или же напора активно вмешавшегося трудящегося класса? В первом случае «реформы» на этом, думали мы, и должны застрять, во втором — это только начало. А если начало, то концом должно быть и падение Шлиссельбурга.

Но тут же прокрадывались мрачные сомнения, 6-го Августа дан был указ о Думе. А в июле, т. е., несколькими неделями раньше в Шлиссельбурге, рядом с тюрьмой начали строить церковь для заключенных!

Двадцать два года тюрьма простояла без церкви. Если за несколько недель до указа о Думе царь задумал строить церковь для спасения души тяжких грешников (цена 40 000 этому спасению), то очевидно, что в июле то «они» еще и не думали считать «государеву» тюрьму, а стало быть, и «государево дело» сыгравшими свою роль.

Но как бы то ни было, люди, лежавшие в гробу, отчаявшиеся когда либо выйти из него, слышали стук. Как будто чьи то сильные руки стараются сорвать крышку гроба. Крышка крепко прибита. Осторожный, привыкли к {174} разочарованиям ум говорит: нет, не сорвать! лежи смирно, брось надежды! Спи, сердце!...

Но сердце, разбуженное сильным ударом, не успокоится, не заснет опять.

Мечта всей жизни — день свободы в свободной России, — минутами кажется, — готова осуществиться.

Но страшно довариться, страшно питать себя надеждами! Только ночи доверяешь их. Темное небо и яркие звезды — немые свидетельницы бесконечных страданий в течение десятков лет, теперь холодно, бесстрастно наблюдают через железные решетки, как на тех же койках, те же люди, только уж бледные и белые, как лунь, проводили бессонные ночи, преследуемые неотвязными думами о жизни и воле.

А днем — на прогулках, — нет, нет — разговор все сведется на тему о том, «что будет, если это будет?» Одни доказывали, что прекраснейшим образом в Петербурга может заседать Дума, а в Шлиссельбурге — «государственные преступники»; другие доказывали, что если даже и не будет дальнейших побед, все же ко времени созыва Думы, т. е. 6-го января, по крайней мере старики должны быть освобождены.

Все старанья войти снова в колею, заняться чтением — благо теперь разрешили на оставшиеся {175} собственные деньги выписывать книги, — ни к чему не приводили: жизнь дразнила, жизнь манила.

Числа 20 Октября мы заметили среди жандармов какое-то волнение. Сходились группами, перешептывались, замолкая при нашем появлении. Мы насторожились. Но узнать ничего не удалось. В воскресенье, кажется это было 23-го, во время обеда, «телеграмма» — староста стучит (в Шлиссельбурге принято стучать не в стену, как обыкновенно в тюрьмах, а чем-нибудь в дверь — тогда слышно всем.): »важные сообщения — Витте назначен премьером; состав министерства либеральный; обещаны большие реформы. Собратся в большом огороде.»

Кто-то стукот отвечает: «Витте жулик — надует.»

С другой стороны вносят поправку: «хоть и жулик, все таки не жандарм. Предлагаю вотировать доверие министерству умного жулика.»

Как только отперли двери «на прогулку», все бросились в большой огород. По инструкции там собираться можно только вчетвером. Но в этот раз, «в виду перемены министерства» двоим удалось проскочить зайцами. Жандармы настроены благодушно.

{176} — «Идите скорей, парламент уже открыт, только вас не достает», — острит

дежурный.

Сзади меня, в двух шагах, идет унтер. При спуске с крыльца мне бросился в глаза его несколько встревоженный вид. Казалось, он что то хотел сообщить. Я замедлил шаги.

— Ну, 35-ый (в Шлиссельбурге заключенных называют не по именам, а по номерам.), можете радоваться. Так все по вашему и вышло! — шепчет унтер сзади.

— Что вышло? — спрашиваю я, не понимая в чем дело.

— Да насчет стен то иерихонских, помните? Как говорили, так слово в слово вышло (в Марте, на дворике старой тюрьмы, когда снег начал таять, жандармы, баловства ради, из снега сбили стену).

— Зря, братцы, эта ваша работа, как и все, что ваше начальство теперь делает.

— Что ж так?

— Солнце правды взойдет — ваша снеговая стена растает, — а вот эта каменная рухнет.

— Как рухнет?

— А знаете, как иерихонские стены — только раздастся глас: правда в мир пришла — так и рухнет, вот увидите.

— И скоро?

— Скоро, следующей нашивки не успеете заслужить.)

Не оглядывайтесь. Через ¼ часа идите в первый огород, там удобнее будет.

{177} Иду в «парламент». Там необычайная сенсация. Оказывается, во время обеда к старосте явился смотритель (помощник коменданта) якобы по какому-то хозяйственному делу, очевидно, чтобы «поговорить». Необыкновенно мил и очарователен, что не всегда с ним бывает. (Это тоже барометр.) Заговорил о течениях в Петербурге. Новый «кабинет». Премьер Витте. Либеральные министры. Дума изменена — не законосовещательная, а законодательная. Избирательное право расширено. «Вообще, настоящий парламентский строй.»

— «А свобода печати как?» спрашивают его.

— «Пишут обо всем, что хотят. Да последнее время совсем газет не было.»

— «Как не было? Почему?»

— «Забастовка. Все типографии бастовали, долгое время без газет были.»

Даже «Валаамова ослица» (так прозвали крепостного врача за его «политическую молчаливость») заговорила что то на тему, что, мол, хорошо все вышло, — наконец в России будет конституция. Тут же, между прочим, смотритель и врач просили приготовить им, только как можно скорее, так как очень де нужно, щипцы для сахара и еще что то в этом роде.

{178} Вот эти то чрезвычайные события и обсуждались в нашем парламенте.

Раньше всего учитывалось не то, что говорили чины, а как говорили. В обращении, в освещении фактов, в самой интонации чувствовалось что то новое. Это первое. Второе — никогда до сих пор смотритель, а особенно доктор, не сообщали никаких существенных новостей, а тут вдруг, о перемене курса объявили. Ясно, что что-то такое произошло.

Начали сопоставлять числа — так и есть: 17 и 21-го табельные дни. Очевидно, к этому сроку был приурочен какой-нибудь манифест. Но что обозначает забастовка типографии? Ясно: была какая-то большая стачка. В большом огороде страстно обсуждается положение дел, высказываются всевозможные предположения, а наверху на вышке ходят дежурные жандармы и добродушно ухмыляются.

Сообщаю товарищам, что скоро, быть может, что-нибудь узнаем, так как жандарм назначил свидание. Отправляюсь в условленный огород, Иду медленно, опираясь на палку. За мной «он».

— Вот 35-ый, дожили таки! иерихонские стены то рухнули!

— Говорите толком, что такое произошло?

{179} — Да что произошло! Очень просто, вся страна отказалась служить правительству.

— Как вся страна? Кто же именно?

— Известно кто: рабочие — те уже завсегда первые в битву, земство, крестьяне, железные дороги, чиновники, словом сказать, все!

— Чего же они требовали?

— Да не хотим, говорят, служить старому правительству, бюрократии, значит, а требуем, чтобы новое было, вроде как от народа.

— Как? и железные дороги, и земство? Вы это наверное знаете?

— Чего не знать? Говорю — вся страна! Не желаем, говорит, служить старому правительству.

— Что ж, вышел указ какой?

— Большой указ, 35-ый! Большие свободы объявлены. И амнистия всем.

— Как амнистия, что такое?

— Да освободят, значить, всех, в тюрьмах которые. Всех социан-демокрантов приказано освободить.

— Т. е. как социан-демокрантов? (Очевидно, в канцелярии, разбирая «амнисию», начальство толковало, что с.д. подлежать все освобождению. Унтера приняли это на наш счет.) Кого вы называете социан-демокрантами?

{180} — Политические, значит, которые! Вас, примерно, всех, ну и прочих по России которые.

— Да вы откуда это знаете? Может так болтают только зря?

— Чего зря! Сегодня дежурил в канцелярии, при мне начальство разговор имело: всех, говорят, социан-демокрантов освободят. А нам что! Мы сами рады.

— Что ясе, так вот просто совсем и освободят? Прямо из крепости на волю?

— Да как же иначе? Я уж и не знаю! Сказано освободить, значит, они освободить и должны.... Тсс . . . Идите 35-ый, часовой смотрит! Вот тоже псы цепные, своего же брата загрызут!

Мчусь в парламент. В сердце и голове так все и заходило: «отказались служить правительству ... Большие свободы... Амнистия...

Сопоставляешь с заявлениями смотрителя, — ясно, что-то произошло.

В парламенте, оказывается, уже получены из другого источника, тоже от унтера, кое-какие сведения, дополнительные к моим. Кто-то робко говорит : «да ведь это, господа, на всеобщую стачку похоже.»

— Ну, уж и выдумали! Это у нас то **{181}** всеобщая стачка, да еще с земствами, с банками !... Тут что-то не то!

— Чего не то? Что им за расчет выдумывать? Смотрите, они сами вес сегодня какие-то приподнятые, особенно молодые! Ясное дело, была грандиозная стачка, под давлением ее правительство бьет отбой!

Обсуждали, обсуждали, однако решили, что надо постараться еще собрать сведения.

Разошлись по клеткам. Я пошел в клетку М. Ф. Фроленко. Она помещалась в конце, там удобно было говорить с жандармами. Дежурный на галерее, очевидно, очень встревожен. Оглядывается по сторонам, нервно ходит около наших клеток.

Несколько раз останавливается и восторженно смотрит на нас.

— Вы что сегодня, точно именинник, сияете? спрашиваем, улучив момент, когда дежурный на стене пошел в другую сторону.

— Вести уж больно веселые...

— В самом деле? А для кого веселые, для нас, или для вас?

— Да я так полагаю, что ежели для вас веселые, то и для нас тоже.

— Уж будто бы?

— А как же по вашему ? Ведь, чай, у меня **{182}** родные то есть? А кабы у меня что в деревне было, нешто я бы за двадцать то пять рублей на этой собачьей службе был? Нужда заставляет!

— Так вести то какие?....

— Да ведь вы знаете, нам говорить запрещено, каким то невероятно грустным голосом, даже с дрожью, отговаривается жандарм.

— Говорить запрещено? Вот видите, сами говорите «собачья служба», т. е. делу то собачьему служите, наше дело считаете своим, а начальство приказывает вам молчать, вы и молчите?

Жандарм все больше и больше волнуется, указывает на часового и уходит.

Через некоторое время снова подходит.

— Вот, верьте совести, уж так бы хотелось вам все рассказать, да право же нельзя — с нас строго взыскивают. Спросите у начальника — он скажет.

— Пойдите вы к чорту с вашим начальником. Мы с народом, а не с начальством. Мы за народ жизнь отдаем — так нам не жалко, а вы боитесь нам хорошее слово сказать.

— Да что сказать? Толком то я объяснить не сумею. Прямо сказать рушится все.

— Что рушится?

— Да бюрократья проклятая,

{183} — И уступает?

— Уступишь, когда за горло так схватили, что дохнуть не дают!

— Стало быть, здорово дуют каналью?

— Ого, аж пыль идет! В хвост и в гриву, с злорадством говорит жандарм.

— А вы и рады?

— А нам что, скорее бы с дьяволом, с бюрократией покончили, нам бы тоже лучше стало.

— А, действительно, думают освободить нас?

— Говорят, был в канцелярии разговор, будто манифест какой то есть. А только что толком я не знаю. Гуляйте, смотритель идет! — тревожно прошептал он и пошел в свой обход.

Принесенные нами известия в «парламенте» произвели сенсацию. По всему видно было, что произошло нечто решительное. Унтера, по своей наивности, не знают в чем дело, начальство не говорит. Делаем всевозможные предположения. В это время «молва» приносит новое известие. Оказывается, смотритель бродил по галерее с очевидным желанием заговорить. Остановился около клетки М. Р. Попова. Конечно, снова затронули «новости». Подтвердилось {184} старое, кое что разузнали новое. Зашел разговор о Шлиссельбурге.

— Ведь при конституции Шлиссельбурга не может существовать?

— Да существовать то отчего не может? Только в другое ведомство перейдет, «успокаивает» смотритель, спускаясь с галереи, дабы прекратить неудобный разговор. А на галерее унтер о усмешкой шепчет Попову по адресу смотрителя.

— Останется! Врут идола, вы им не верьте! Всех освободят вас, вот увидите.

В «парламенте» спорят о том, может ли при конституции остаться Шлиссельбург или нет. Мнения разделяются.

— А по мне, так прекрасно может, язвит кто то; пуговицы у унтеров переменять, вместо «орлов» понашивают «закон» — вот тебе и все результаты конституции: будете под «законом» ходить!....

Однако как ни старались сдерживать себя, чтобы не было никаких «бессмысленных мечтаний», как ни старались казаться спокойными и «не придающими никакого значения всей этой жандармской болтовне», как ни прерывали постоянно разговор — «ну, будет уж об этом!

{185} Надоело даже» — мысль все упорнее и упорнее возвращалась к «жандармской болтовне.»

Разбрелись по камерам и там всякий про себя, не стыдясь насмешливых взоров «пессимистов» над «оптимистами», всякий про себя: и оптимисты и пессимисты доверяли свои думы одиноким кельям.

На другой день дежурными были «верноподданные» — узнать ничего не удалось. Как бы по взаимному соглашению — «бессмысленные мечтания» не затрагивались. И в доказательство того, что ровно никакого значения всей этой болтовни не придают, — некоторые занялись раскапыванием парников.

Но и это молчание, и эта яростная работа над парниками, и это небрежное посвистывание, — все это было только «так».... на самом же деле, сердце било тревогу, а мысли бороздили ум все о том же и о том же....

Глава X.

Так прошло два дня. В среду 26-го нам была выдана «свежая» книжка Русского Богатства. «Свежая» — это значит за ноябрь прошлого года. Было ясное осеннее утро. Солнце грело. Мы с М. Р. Поповым получили книжку на час. Пошли {186} в клетку читать внутреннюю хронику Мякотина. «Свежие» новости были для нас захватывающие. Впервые, этот новый боевой тон! Определенная позиция открытой защиты «крамолы». Значит «там» ослабло. Потом все эти банкеты, петиции, манифестация Октября-Ноября 1904 года — нам казались такой «революцией», что мы едва дышали от восторга. Восторг нам только несколько умерился, когда дежурный на галерее, долгое время прислушивавшийся к чтению, насмешливо махнул рукой, процедив.—«Ну, нашли тоже о чем читать! То ли еще теперь бывает!»

В самый разгар ламентации какого-то земца, призывавшего сплотиться вокруг престола, раздается яростный стук в дверь клетки и через несколько секунд показывается встревоженная фигура Г. А. Лопатица.

— Идите скорее . . . комендант собирает . . . амнистия или как там ее к черту ! Нас увозят . . . Вам 15 лет.

Мы бросились на «сбор» — «Сюда, сюда ! На большой огород!»...

В большом огороде уже все в сборе. Комендант, все офицеры, унтера. Стариков, оказывается, увозят, молодым срочным сокращается на половину, бессрочным на 15 лет.

{187} — Неужели самодержавие рассчитывает прожить еще 15 лет?

— Почему знать? — загадочно огрызается комендант.

— Когда же повезут и куда?

— Распоряжение департамента полиции возможно скорее отправить вас отсюда в Петропавловскую крепость для следования в Сибирь.

— В Сибирь?! Недурна «амнистия».

Выторговали, что дадут два дня на сборы. Никто, оказывается, не готов. Острыят над М. Ф. Фроленко: десять лет делает чемодан (Фроленко специализировался в Шлиссельбургских мастерских на чемоданах. Все отъезжавшие из Шлиссельбурга брали его изделия. Для себя лет 10 готовил, да все другим приходилось отдавать.), а теперь пришлось ехать — не с чем, хоть поездку откладывай.

Сначала все стояли, как растерянные. Величественный, так долго жданный момент, появление которого рисовалось «в блеске и славе», настал. Но настал так серо, так тускло! Что же это за амнистия, вырванная народом? После 20—25 летнего заключения увоз на поселение, а прочим сокращение срока!

Радость момента сразу отравлена. Но зато остра горечь разлуки. Уходить отсюда, оставляя {188} «молодых» в неопределенном положении, так тяжело. Уходящие чувствуют какую-то неловкость, как будто они виноваты в том, что мы остаемся здесь.

Ради такого необычного случая комендант разрешает собираться в большом огороде всем вместе.

Больше всего споров и обсуждений вызывает вопрос — что собственно вызвало «амнистию»? Очевидно, что если правительство уступает, то не искренно, без доверия к «новому строю». Иначе какой смысл имеет эта половинчатость?

— Ну, это уж так, судьба нашей Руси матушки — все шиворот на выворот, даже и ход революции, острит кто то.

Однако надо собираться. Забирать с собой рукописи, документы и пр. боялись: — могут обыскать, тогда все пропадет. Решают оставить нам, так как де, уже если мы отсюда выберемся, то не иначе, как полноправными гражданами, — ворота настежь, сами потом запрем, да ключ к себе в карман положим.

Начались сборы. Все камеры настежь, дежурные сняты, суета по тюрьме

необычайная. Что забрать с собой, что оставить? За двадцать лет накопилось так много! Со всем этим {189} так сжились, что теперь жалко расстаться даже с этим, казалось бы, хламом. Вечерами, сегодня и завтра, остающееся будут давать поручения уходящим. «Оказии» так редки в Шлиссельбурге.

В запертых на ключ камерах, вдвоем, близко, близко друг к другу, озираясь, не подслушивает ли кто, тревожным шепотом остающейся твердит уезжающему. Поручений будет много. Как бы не спутать! Заучивают как урок: завтра будут сдавать экзамен.

Прошел и следующий тревожный день. Всем как то не по себе. Настала пятница. К двенадцати часам надо быть готовым. Письма к товарищам на волно написаны на маленьком, маленьком клочке бумажки и заделаны в надежное место. Все поручения переданы. Вещи уложены и собраны в коридор. Уезжающим дали новое белье, бушлаты, халаты и.... чего не делает «конституция»! — сапоги!

Чуть свет, — собрались в большом огороде. «Старики» уже одеты по походному. Опять разговор о том, что «там»? Долго ли будут держать в Петропавловке? Неужели запрут в одиночки и будут держать на четверти-часовых прогулках? Этого бы только не доставало для полноты «амнистии»!

{190} Я думаю, нигде так ревниво и упорно не скрывают свои чувства, как в России.

Оставалось часа два до увоза. Момент, несомненно, исключительный. Последние могикане увозятся из Шлиссельбурга. Ведь это как бы символ великой трагедии, разыгрывающейся там — в великой стране. Старики «амнистированы» — со старым режимом как ни как покончено. Но «молодые» еще остаются: нового режима пока еще нет, да и неизвестно будет ли: — посмотрим, мол. Что должны были переживать в этот момент и уезжающие и остающееся!

Но всякий упорно скрывал свои чувства, стараясь казаться совершенно спокойным. Под конец заговорили о пустяках. Вспоминали курьезы. Старались шутить. Смялись. Но и пустяки, и курьезы, и шутки, и смех — все это было только напускное. То, что всех волновало, боялись затрогивать, о самом главном избегали говорить.

Но на уме у всех было совсем другое. Один вскользь высказал общую думу, — нельзя же уходить так, не попрощавшись с могилами!.... Наступило неловкое молчание. Сделали вид, что не расслышали. Но какой ад должен был быть на душе у них! Конечно, {191} на «кладбище» не пустят, — зачем же и поднимать этот вопрос?

Перед увозом покормили обедом. После обеда опять собрались в большом огороде. На тюремном дворе выстраивается жандармский конвой. Конвоировать будут шлиссельбургские жандармы и офицеры. Все в караульной форме. Является комендант.

— Ну, господа, распрощайтесь и в путь. Началась сдача крепости. Народная Воля сдавала крепость своей преемнице, Партии Социалистов-Революционеров. Именно эта то исключительность момента заставила нас, — как это ни было тяжело и «непривычно», отпустить их с прощальным словом. В свое время оно было напечатано. Вот оно:

Товарищи!

Не в традициях русских революционеров взаимные излияния чувств. Но необычность настоящего момента, неизвестность, увидимся мы или нет, обязывает нас высказать вам хоть часть того, что сказать должно было бы.

Партия Социалистов-Революционеров считает себя духовной наследницей Народной Воли. Мечтой и стремлением пионеров П.С.Р. было вдохнуть в молодую партию тот дух революционной {192} стойкости, гражданского мужества и беззаветной преданности народному делу, которыми так сильна была Народная Воля и который покрыл ее такой неуязвимой славой. Вы, последние могикане пленной, разбитой партии. Сегодня ее, старая гвардия, отслужив все возможные и невозможные сроки, оставляете Шлиссельбург и передаете нам, молодым солдатам молодой Партии, свое знамя.

Помните: мы знаем, что то знамя облито кровью погибших здесь товарищей. Мы знаем, что оно переходит к нам чистым и незапятнанным, что таковым же мы должны его сдать нашим преемникам, если таковые еще, к несчастью, будут. И мы надеемся,

что эта задача окажется нам по силам.

Уходя отсюда, вы, восемь человек, уносите 203 года тюремного заключения. Ноша чудовищная, почти невероятная. И если вы под тяжестью ее не пали, товарищи, вы честные, надежные носильщики. Вот чувства, волнующие сегодня нас, остающихся, и тех, которые ждут вас там за стеной этой тюрьмы.

Помните и знайте: Партия Социалистов-Революционеров, революционный пролетариат, крестьянство и молодежь ждут вас, как самых дорогих, самых близких людей. Их горячие {193} объятия, их братская любовь и участие растопят лёд, накопившийся за бесконечные годы мучительного одиночества и с лихвой вернут вам то, без чего так изголодалась и исхолдалась ваша душа. Отдайтесь доверчиво их чувству: вы вполне, заслужили его.

И еще вот что: пусть мысль о нас, остающихся, не омрачит вашего настроения. Как бы ни была тяжела разлука с вами, как ни будем мы себя чувствовать одинокими и осиротевшими, печально не столько то, что мы остаемся, сколько то, что шлиссельбуржцы остаются: стало быть в них есть еще надобность!

Вы оставляете нам по себе хорошую память. Мы были бы рады, если бы такую же вы унесли о нас. Привет всем. Да не будет камень, который вы увозите от нас родным на память о Шлиссельбурге, последним, да разберет народ оставшиеся камни — их много — на память себе, о том, что было некогда и чему повториться он больше не даст!

Мы распрощались. Выстроившийся на дворе жандармский караул окружил их. Начальник пересчитал, все ли на лицо. Раздалась какая то команда, раскрылись двери кордегардии, зазвенели шпоры и процессия двинулась.

{194} Мы бросились в тюрьму к окошкам, из которых видна дорожка вплоть до внутренних выходных крепостных ворот манежа.

Странную картину представляла эта группа старцев в арестантских шапках, в безобразных тулупах, окруженная живой стеной жандармов.

Все время оборачиваясь к окошкам, к которым мы прильнули, они машут нам шапками и что то кричат. Расстояние между нами быстро увеличивается. У канцелярии останавливаются. Входят туда. Через несколько минут показываются жандармы, за ними «арестанты». Машут платками. Направляются к выходу. Вот повернули за угол. Через деревья едва, едва видны синие шапки жандармов. Быстро мелькнул красный платок (в Шлиссельбурге выдавали на каждого по два красных (носовых) платка в год.) затем все скрылось.

Какая то торжественная, необычайная в новой тюрьме тишина... Нет сил оторваться от окошка. Никого не видать, но мысленно следишь за ними. Вот они входят под темные своды. Вдали свет. Непривычный горизонт. Еще несколько мгновений — и ворота остаются за ними, усталая грудь жадно и трепетно вдыхает {195} свежий воздух, вольный воздух !... Одинокие среди жандармов. О том ли мы мечтали! Мы думали: «свобода нас примет радостно у входа и братья меч нам подадут!» ... А теперь ! ...

Они оглядываются. Перед ними «государевы ворота» Когда это было ? Ведь так недавно ... Было утро ... Те же жандармы . . . Ноги и руки скованы... Те же ворота, та же надпись «Государева», но тогда позади оставалась воля, жизнь. Ворота все приближались и мрак становился все гуще и гуще. Когда это было?. . . Молодыми, почти юными. . . они смотрят друг на друга... какие, однако, они все белые, совсем старцы, думает каждый про себя... Да, когда это было?... 21 год тому назад!... 21 год!....

Мы остались одни в громадной тюрьме. Через несколько времени донесся отдаленный гудок — то пароходы отходили от Шлиссельбурга с «арестантами»...

Глава XI.

Первые несколько дней и мы оставшиеся, и жандармы бродили по тюрьме, как «неприкаянные». Все осталось по старому. Та же громадная {196} охрана, тот же штаб офицеров, те же вооруженные часовые на стенах. Внутри только, в тюрьме было пусто. В «сараях» сидели Е. Сазонов и Сикорский. Комендант обещал хлопотать, чтобы их разрешили

перевести в новую тюрьму. За нами начали ухаживать со всех сторон. Пища сразу улучшилась; прибавили по ½ бутылки молока в день на каждого. Доктор — классическое эхо настроения «наверху» — прислал по куску казанского мыла. Скоро душистые ванны станут нам делать — шутили мы.

Должен сознаться, — отвратительно было это ухаживание. Цену ему хорошо знаешь. Эти люди в другая времена спокойнейшим образом проделывали самые отвратительные жестокости, и, конечно, снова будут их проделывать, как только прикажут, даже не прикажут, а просто захотят наверху. Еще в 1902 году, когда при воцарении Плеве пища стала невозможной, тот же доктор, теперь дававший нам душистое мыло и молоко, на жалобу С. А. Иванова, что пищу эту в рот брать невозможно, ответил : «ну, знаете, вы все здесь очень привередливы.»

Кое как начали входить в колею. Мы ждали возвращения коменданта из Петербурга с решением вопроса о переводе Сазонова и Сикорского к нам. Окно моей камеры (№ 40) выходило {197} на крепостной двор, где находились квартиры солдат и офицеров. Из овна видно было, когда со двора направлялись в тюрьму. «Визиты» начальства происходили обыкновенно во время разноски обеда...

В воскресенье, 6-го ноября, вижу в тюрьму направляется комендант. Зашел в камеру Карповича. Через несколько времени — и очень скоро — раздаются шаги, уходит. Что, думаю, больно скоро? Посмотрел в окно и чуть не остолбенел: по направлению к выходу из крепости, по той же дорожке, по которой недавно увели стариков, шествует Карпович в сопровождении коменданта, офицеров и унтеров. Размахивает руками и махает шапкой. Куда его ведут ? Неужели выкрали, куда-нибудь увезут, не дав даже распрощаться? Бросился к двери, позвал дежурного.

— Куда третьего повели?

— Не могу знать.

— Сейчас его видел — с комендантом шли мимо канцелярии.

— Не могу знать! Разве мы что знаем?

Дикая злость охватила всего. «Ну, ладно, пусть только теперь покажутся на глаза, — попадет на орехи !»...

Мечешься по камере, не зная что и придумать.

{198} — Ведь если решено нас куда-нибудь перевести — не стали бы по одиночке выводить! Не иначе, как его одного куда-нибудь уволокут! Но почему же именно его? Или, может быть, уже опубликовали наши письма в товарищам и это его выманили в карцер, а потом за мной придут ?

В это время открывается дверная форточка и через нее просовывается лукавая морда вахмистра.

— 35-ый, смотритель приказал вам сообщить, чтобы не беспокоились за 3-го; к нему мать приехала на свидание ...

— На свидание?!

— Так точно!

Если б мне сказали, что «третий» улетел на небо живым, меня, наверное, это гораздо меньше поразило бы, чем это известие . . . «На свидание!» 21 год стоял Шлиссельбург и ни разу за все это время ни одно живое существо, не принадлежащее к лику святых жандармов, не проникло сквозь эти неприступные стены. Возможность свидания в Шлиссельбурге казалась ни с чем не сравнимой. Как? Шлиссельбургского арестанта увидит живое существо, которое потом вернется в живой свет? И стены не рухнут? И отдельный корпус {199} жандармов не повесится ?... О, бедное, бедное самодержавие, как безвыходно должно быть твое положение, если ты вынуждено все это претерпеть и даже, быть может, быть соучастником.

Через некоторое время явился и смотритель подтвердить, что «за третьего тревожиться нечего, повели на свидание с матерью.»

— И долго там пробудет?

— Так, вероятно, с час.

Повели его в 12, значит в начале второго будет обратно. Взобрался на окно, чтобы не пропустить его возвращения. Проходит час, проходит два, три — нет. Что за история?! Или они в самом деле что-нибудь с ним сделали и только успокаивают, чтобы оттянуть время? Четыре ... пять . . . все нет. На дворе уже темно, ничего не видать. Часов в семь — слышу, как будто нижняя дверь хлопнула. Шаги. Потом запирают камеру. Дежурный направляется к моей камере. Отпирает.

— 35-ый, пожалуйста в гости к 3-му, из деревни гостинцы привезли, благодушествует унтер.

Лечу к «третьему». Лицо у него бледное, взволнованное.

— Ну что?

{200} — Да понимаешь, история какая! Свидание с матерью имел!

— Все время? Семь то часов?

— Все время. У командира и ночевать осталась. Завтра утром будет еще одно.

— Узнал что-нибудь?

— Целый короб новостей. Чудеса да и только! ...

Да, чудеса да и только ! Это были первые новости из более или менее верного источника. Конечно, источника очень ограниченного, мало осведомленного, но все же, как потрясающе были для нас те известия!

Приехала на лошадях: железнодорожная забастовка. Почта и телеграф тоже бастуют — это казалось нам верхом неправдоподобности. Нельзя сдавать телеграммы, нельзя посылать писем! Объявлены свободы. Повсюду бесконечные митинги, собираются десятки тысяч прямо на улицах.

Но повсюду погромы. Кровь льется рекой. Крестьяне за одно с рабочими. Сергей разорван на куски, «едва в платочки кое что набрали». Бомбу бросил Каляев. Сейчас после этого вышел указ о народном представительстве. Бомбы и покушения каждый день. В Сентябре здесь казнены двое (об этом мы {201} не знали). Требуют полной амнистии, ждут нашего освобождения.

Общий поток увлек и ее, 75-ти летнюю старушку! Вся надежда у нее на революцию — так как ведь только революция может спасти ей сына. Да и очертело старое начальство! Невмоготу стало. В армии повсюду брожение. Владивосток разгромлен, Кронштадт разгромлен.

Перед нами раскрылся один уголок, маленький уголок громадной картины и каким величием повеяло оттуда — от Руси, веками покоившейся на «исконных началах». Нам советовали не тревожиться: дело свободы находится в верных руках, — наше освобождение обеспечено. Надо иметь только терпение.

Поволновались несколько дней, стараясь из отдельных, разрозненных сообщенных фактов составить себе общую картину.

Комендант обещал, что Сазонова скоро переведут. Выбрали для них теплые камеры, заставили вычистить, прибрать. Раздобыли «обстановку». Мы уже к этому времени в общих чертах знали, какое громадное значение имело уничтожение Плеве и горели нетерпением обнять товарища, на долю которого выпало такое редкое счастье. Для нас в данную минуту самым {202} ценным представлялось то, что он каким то чудом остался жив. Он еще ведь там ничего не знает, что делается в России, то-то огорошим его !

В среду, кажется, 10 Ноября, наконец объявили, что в три часа их переведут.

Решили встретиться их на прогулке, в большом огороде...

Я обойду это.

Замечу только, что всю глубину радости встречи можно испытать лишь там, в этом месте, оторванном от всего живого. Мы боялись сразу сообщить все, что мы знали: впечатление может быть слишком сильно, психика может не выдержать: ведь от радости можно также сойти с ума, как от горя. Теперь Сазонову приходилось переживать то, что мне в сентябре. Одного только он был лишен — возможности свидания со стариками.

Опять целые дни и вечера проходили в обмене пережитым: мы — за это время, он — за время до акта 15 июля. Мы зажили тесной семьей, сами не веря своему счастью.

Через несколько дней во время прогулки является смотритель: «к вам отец приехал, пожалуйста на свидание!» Карпович и Сазонов бросились поздравлять, стараясь шепнуть, какие {203} передать от них поручения. Свидание было для меня большой радостью. За эти полтора года, оказывается, родные не могли добиться даже простого сообщения, где я. Департамент полиции на все вопросы отвечал: «ничего не знаем.» Само собою разумеется, родные считали меня мертвым. Свидание с отцом подтвердило в общих чертах картину роста революции, неизбежность ее победы и что в скором времени можно ожидать нашего освобождения.

И мать Карповича, и мой отец, отчасти по неосведомленности, отчасти по инстинкту, не открывали перед нами всего пережитого страной. Они сообщали нам скорее результаты, да и то только благоприятные. В сущности, с их точки зрения они поступали очень умно: мы скоро успокоились. У нас получилось впечатление, что все идет «в порядке», своим чередом, что партии хорошо организованы, что идет планомерная работа и планомерная борьба. Жертв особенных нет. Словом размеры движения с одной стороны суживались, с другой укреплялось убеждение в близком торжестве. И мы, более или менее успокоившись, углубились в занятия, стараясь использовать время «отлучки»: отныне мы считали себя в отпуску.

Но вот, через несколько дней, получил {205} свидание осведомленный, близкий к партийной работе человек. Перед нами развернулась вся жизнь России за последние два года, но развернулась вся, со всеми ее ужасами, со всеми потоками крови, со всей самоотверженной борьбой и зверскими преследованиями.

Ружейный грохот 9-го Января, бесконечные погромы, борьба черных сотен, избивание манифестантов, поджоги митингов, все это нам, бывшим вне жизни, казалось каким-то кошмарным сном. Сконцентрированное во времени и пространстве, оно леденило кровь и так давило своею тяжестью, что мы чувствовали себя придавленными необъятными размерами жертв.

Но за то с другой стороны, размах революции, участие в ней сознательных сил, глубина движения, грандиозность выдвинутых им задач, вызывало радостное изумление. Все казалось так ново, так необычайно! Эти дни свобод, 10-ти тысячные митинги, народные милиции, Советы рабочих депутатов, крестьянские движения, эта самоотверженность, которой были охвачены трудящаяся массы, бескорыстное служение свободе глубоких низов, этот необычайный, казавшийся таким бесконечно далеким, подъем, неудержимый порыв к свободе и справедливости, — все это так чарующе пленяло мысль и воображение!

{205} Для нас эти известия были снопом света, ворвавшимся в наши потемки и озарившим все так ярко и лучезарно, что непривычный глаз как бы искал защиты от ослепительных лучей. Вихрь, ударивший в склеп и, как осенние листья, разметавший все вокруг. Мысли, как вспугнутые птицы, беспорядочно роились в голове, а сердце, радостное, трепещущее неудержимо рвалось туда, в бой, в схватку!

И этот бой казался таким великим, таким захватывающим, что мы, каюсь, завидовали им, счастливым, все это переживавшим в горниле борьбы.

И какой тяжелой, какой мучительной стала тогда жизнь в нашем невольном убежище, куда громы битвы не долетали.

Движение, небывалое по широте и размаху, возрождение народного духа, только раз переживаемое страной, шло мимо нас, как мимо мертвецов. Там кипит борьба, идет смертный бой с издыхающим чудовищем, а мы тут, полные сил и жажды борьбы, вынуждены сидеть в бездействии!

«К мечам рванулись наши руки, но лишь оковы обрели.»

Нас обнадеживали : «ждите, час свободы близок.»

И мы жили и дышали только этим. {206} Никаких других мыслей, никаких других разговоров. Жили только в мире борьбы, — свободной, широкой борьбы. Но зато, как тягостно бывало пробуждение! Пронесется громы революции, рисуешь себе победное ее шествие, видишь народ — радостный счастливый, освобожденный, — но со стены

раздается окрик часового : «кто иде-е-ет?» — смотришь на эти твердыни целые, неприступные и в душу прокрадывается холод тревоги и сомнения: Шлиссельбург жив — Государево дело еще не умерло! ...

Но преобладала уверенность в близком, очень близком крушении всего строя. Мы ждали еще свиданий. Поведение начальства такое, что и оно ждет — не сегодня — завтра освободят. Это было в двадцатых числах Ноября. Говорили, что 6-го Декабря должны последовать «уступки» и, между прочим, амнистия.

Глава XII.

Прошло несколько дней. Свиданий нет. Известий никаких. В воздухе чувствовалось что-то тревожное. Никто ничего не говорил, никаких внешних проявлений не было, — все как будто по старому, но нами чувствовалось что-то неуловимое, нечто такое, чего не было раньше.

Мы насторожились. В тяжелой неизвестности прошло несколько дней. Настало 6-ое Декабря. Ничего! Прошло 7-ое, 8-ое, 9-ое, — все по старому. Случайно подхватили известие, что 2-го Декабря все социалистические газеты закрыты за напечатание какого-то манифеста.

Началось! думали мы. Мы рисовали себе сцены июльской революции в Париже при попытке королевского правительства закрыть „National". Мыслимо ли, чтобы редакции революционных газет подчинились министерскому распоряжению?! Редакции окажут сопротивление, будут поддержаны народом и. . .

Настали нестерпимо мучительные дни. Маленький просвет, образовавшийся в наших потемках, исчез. Крышка гроба, приподнятая было немного, снова захлопнулась, и над нами снова спустился мрак. Нам казалось несомненным, что партии, вследствие нападения правительства, призвали народ к восстанию; что схватка началась, но что пока победа не на стороне народа, так как наши жандармы — и высшие и низшие «подтянулись» и держат себя холодно. — Все мысли были направлены только на одно: узнать, что «там»? Мы следили за каждым шагом, за каждым движением жандармов; старались прислушиваться к их шепоту, ловили их {208} взгляды, — радостные ли они или печальные? И когда мы у них замечали радость, — мы тоскливо расходились по камерам. Когда они нам казались печальными, — мы нисколько оживлялись и воспаряли духом....

Стоило какому-нибудь жандарму явиться в новой шапке, сапогах, не говоря уже о мундире, — мрачным мыслям не было конца: надеются, значит еще существовать, если новой шапкой обзавелись!

Раз как-то зритель вернулся из Петербурга в новом пальто. Боже, сколько мучительных дней стоило нам это пальто !

В средних числах декабря мы заметили какое-то необычайное, уже трудно сдерживаемое волнение среди жандармов. В дежурке скоплялись группами, с увлечением читая какие-то газеты. Простаивая у дверей своих камер целыми часами, стараясь узнать, что вызвало среди них такую сенсацию, нам за все время удалось только схватить два слова: «опять стреляли».

И, конечно, этих двух слов достаточно было, чтобы поднять в нас целый ад. Ясное дело — началось восстание, идет последняя схватка. С нами уж не заигрывают: на нас смотрят, как на врагов. Правда, в обращении нет ничего вызывающего. Администрация просто {209} избегает встреч с нами и держит себя необычайно холодно — «дипломатические сношения прерваны».

Дни шли, и атмосфера с каждым днем все сгущалась, с каждым днем становилось все нестерпимее и нестерпимее. Мы уже жалели — зачем нам дали эти свидания, зачем нас вывели из нашего мертвого покоя, зачем нас поманили жизнью! И каждое утро мы встречались, успокаивая друг друга — может быть сегодня придут, может быть сегодня кто-нибудь получит свидание !

Слух изощрился так, что мы ухитрились слышать звонок у крепостных ворот (В

крепость никого не пропускают. Если кто-нибудь из посторонних приезжает, часовой дает звонок, дежурный докладывает коменданту, последний или его помощник отправляются к воротам и только по личному их приказу часовой дает пропуск. Крепостные ворота очень далеко от тюрьмы; но, когда ветер благоприятный, при чутком слухе, можно ухватить слабый звук звонка.)

И между двумя-четырьмя, когда обыкновенно приезжали на свидание, при каждом подозрительном звуке, с тревожным шепотом: «приехали на свидание!» бросались в камеры к окошкам, откуда видна была дорожка в квартиру коменданта. Отогревая замерзшие стекла своим дыханием, с {210} трудом делаешь кусочек прозрачным. Снег и туман мешают ясно различить. Кто то идет Как будто в штатском кажется женщина.... «Егор, это к тебе! Вероятно мать!»....

Ноги устали, с окошка нестерпимо дует, но сойти не решаешься : вот-вот пойдут звать на свидание.... Проходит 10, 15 минут, полчаса — идешь понуро опять в «огород», чтобы при следующем подозрительном звуке снова броситься к окошку

Так прошел месяц. Мы совершенно измучились. Режим остался почти прежними. Мы не чувствовали никаких лишений. У нас были камеры, недурной стол, книги. Мы могли работать в мастерских. Но мы чувствовали себя несчастными и нервы были напряжены до последней степени. Наше нервное состояние, вероятно, чувствовалось начальством и оно, несомненно, вполне искренно удивлялось нашей «неблагодарности», — их, мол, ничем не удовлетворишь. И это верно. Когда люди находятся в безнадежном заточении, их ничем удовлетворить нельзя. У нас было все. Не было только одного : свободы и связи с жизнью. И в отсутствии этого все остальное превращалось в ничто. Мы чувствовали себя несчастными, лишенными всего.

{211} Приближалось Рождество. Обыкновенно в первый день устраивали праздничный обед: по кусочку утки или гуся и кое-каких сладостей: несколько апельсинов, яблок и $\frac{1}{4}$ ф. винограду. Размеры и доброкачественность «парадного» обеда зависели от общей политики и веяний «наверху». Мы ждали Рождества в большом трепете: тут то мы узнаем, как обстоят дела «там».

Эконом явился к старосте спросить, что мы желаем: гуся или утки. Мы возликовали: значит не все еще погибло: будет гусь или утка, в переводе на язык политики это означает, что никаких особенных перемен не произошло. Но тут же кто то высказал предположение, что это, быть может только военная хитрость с их стороны: из желания скрыть перед нами положение вещей, решили пожертвовать гусем. Начали вспоминать прецеденты: оказывается — плохого скрывать никогда не старались. Бывало, что положение-то таково, что гуся уже можно дать, но не давали, чтобы не обнаруживать нового курса, но чтобы, наоборот, положение изменялось к худшему, а гусю не предъявлялся отвод, — этого в практике Шлиссельбурга не случалось.

Гусь — гусем, доказательности его все еще не совсем доверяли. Вопрос должны были решить сладости. С трепетом ждем «показателя».

{212} Настал первый день Рождества. Гусь, каша, пирог, — как будто ничего дела, — довольно жирные. Но вот судок со сладостями. Дрожащей рукой поднимаешь крышку — и весь холодаешь: один апельсин, одно яблоко, виноград жалкий, шоколаду совсем нет! Гусь, каша, — теперь уж не до них! С тоскою перебираешь маленький мандарин, засохшее яблоко и в них видишь символ поражения народа и победы самодержавия.

С трудом дожидаясь, пока отопрут камеры «на прогулку». Может быть тут ошибка какая? Может быть, это только тебе, так случайно попало, а у них «показатель» утешительный?

Уже издали видишь, что ошибки никакой нет. Лица у всех понурые.

— Один апельсин?

— И у тебя шоколаду нет?

— Нет ! А яблоко тоже одно ?

— Одно ! И виноград скверный !

— Плохо, значить «там»?

— Ясное дело ! Хотя гусь, вот, ничего, лучше даже, чем в прошлом году.

— Ну, что ж гусь ! Гусь готовится на кухне ! Почем там повар знает? А ведь сла-
дости то, — ими сам комендант распоряжается !

{213} Настоящей то показатель именно апельсины: да вот и шоколаду нет!

Грустные и унылые расходятся по камерам. Но вот, на завтра к обеду вахмистр
подает два громадных апельсина! Кто-то стучит: получил апельсины ! Все ли получили? Из
всех камер летят телеграммы — «и я тоже!»

Что ж это? Значить, не так уж плохо? На третий день та же история: два большущих
апельсина, да еще коврижки какие-то !

Снова окрыляемся, снова парим в небесах....

В конце Декабря начали вдруг чистить тюрьму, мыть лестницы. Коридор выстлали
дорожкой. Ждут кого-то ! — Амнистию ли привезет, или «законный порядок» водворять
начнет ?

Глава XIII.

Постоянная неизвестность так истрепала нервы, что мы решили, во что бы то ни
стало завязать сношения с жандармами и добиться у них каких либо известий.

Как я уже говорил, трудность заключается в том, что вы никак не можете остаться
наедине с ними. Вас постоянно сопровождают двое. Взаимное шпионство невероятное.

{214} Вследствие этого, за все время существования Шлиссельбурга, ни разу не удавалось
установить какие-либо сношения или хотя получения известий.

Но теперь, доведенные до отчаяния, мы решились идти напролом. Всевозможными
хитростями, до которых можно додуматься только в тюрьме, да еще при таких
исключительных условиях, удавалось несколько минут оставаться наедине.

— Вот, скоро у вас большой праздник будет, — язвись жандарма.

— А что?

— Да ковры то выстлали, начальство, значить, приезжает....

— А нам то радость какая?

— Как же не радость? Ведь вы вот для начальства душу продали! Сами сколько раз
говорили, что знаете, за кого жизнь отдаем, а вот не повернется же у вас язык сказать нам,
что в России делается. Начальство не приказывает, — вы и стоите около нас, как чурбаны, а
то и как звери лютые....

— Нам и самим не легко ! Верно, что душу продали! Продашь: нужда заставляет

— А если бы вам предложили за 25 рублей отца зарезать, — вы бы зарезали?

{215} — Ну, что вы, что вы! Вот тоже, чего выдумали !

— А, то-то, — «выдумали» ! Значить, не все уж нужда может заставить делать,
покуда совесть есть? Выходит то, все дело в совести !..

— В совести! Конечное дело в совести! Только уж напрасно вы на нас так
нападаете! Нешто уж мы такое дурное делаем? Не мы — другие на нашем месте будут, да
еще, может, похуже !

— Вот как ! Этак то и вор и разбойник может сказать, что никакой его вины нет, —
все равно, мол, воруют и убивают, — не он, так другой. Так по вашему?

— Ну, уж вы тоже скажете что! А вот я вас спрошу что: тюрьму то кто строил ?
Ваши же рабочие? Ружья кто делает, которыми солдаты в народ стреляют? Рабочие! Про
них вы слова дурного не скажете, товарищами величаете! Чем же мы их хуже ? Им жрать
надо — они тюрьму строят. Нам жрать надо — мы в тюрьме караулим. Все одно выходит.

— Не совсем все одно. Рабочий одной рукой тюрьму пока строит, зато другой
тюрьму разрушает, за рабочее дело да за волю бьется. Рабочий только руки, продает, но где
можно, **{216}** всегда хорошему делу поможет, а вы не только руки, но и совесть продаете...

— Чем же продаем то?

— А тем, что делаете свое дело не только за страх, но и за совесть. Ну, служите!
Пусть так. А почему же вы никогда ничего не скажете нам, что на воле делается ? Разве так
рабочий поступил бы когда? Просто в вас сердца нет, потому и молчите...

Жандарм был хороший, простой, честный человек. Он невероятно заволновался, обошел несколько раз галерею, чтобы убедиться, не подслушивает ли кто, вернулся и шепчет :

— Слушайте, это вы напрасно так про меня... Ну, я вам скажу : вас всех скоро освободят, а нас распустят....

— Как освободят?! Совсем?

— Не знаю. Должно, что совсем Будто на днях должно решиться.

— А на воле что делается? Значит народ победил! ,

— Да что делается! Все в огне, везде народ поднимается! Такое пошло — не приведи Бог....

Все поплыло перед глазами.... Через несколько минут мы все сбились в кучу. Тревожно оглядываясь до сторонам, нет ли кого {217} посторонних, длимся необычайными новостями. Освободят?! . Этого мы совсем не ожидали. Но как же освободят, если борьба еще не кончена? Сам говорит — «все в огне, везде народ поднимается» Мыслимо ли в такой момент нас освобождать? Решаем испытать — не даст ли газетку, т. е. собственно не решаем, а только мечтаем, — не веря в возможность этого, — где уж тут! Примеров не бывало!

Улучили удобный момент, опять заговорили. — Слушайте, друг! Уж начали доброе дело, — доведите до конца. Говорить, сами знаете, неудобно, да и многое вам не ясно . . . Разбудьте газетку! Сделайте хоть раз в жизни хорошее дело, увидите — жалеть не будете.

Жандарм смутился. Газета в Шлиссельбурге, это все равно, что в другой тюрьме бомба. Ни за чем так администрация там не следит, как за непроникновением сведений к заключенным. И постоянным напоминанием начальству удалось внушить охране такое отношение к свежим новостям, что сообщение их казалось равносильным самому большому преступлению. Но таково уже свойство человеческого сердца, — хотя бы и под жандармским мундиром: дрогнув однажды и поддавшись человеческому чувству — оно открыто для добра. —

{218} В следующее дежурство, при выходе на прогулку шепчет: сегодня я ночью дежурю в вашем коридоре. Под тюфяком найдете газету. Читайте осторожнее, — как у дверей кашляну, — прячьте. Бога ради не губите, а уж я все сделаю.

День казался вечностью. Считаешь минуты, ждешь не дожدهшься 9 часов вечера, когда разведут по спальням (Последнее время, когда в Шлиссельбурге осталось мало народу, разрешалось иметь по две камеры: спальню и рабочую. В спальню уходили в 9 час. вечера, а в 7 час. утра приходили в рабочую.) и сменяются дежурные. Сердце бьется, весь горишь от ожидания. Неужели там таки будут газеты? Это кажется счастьем, превышающим самые безумные мечтания. Настали, наконец, 9 часов. Разводят по камерам. Стоит неимоверных усилий не выказывать своего волнения и спокойно дойти до своей камеры. По дороге обмениваешься взглядом с заговорщиком жандармом. Дверь камеры запирается, ждешь, пока все успокоится и все, исключая верхнего дежурного, спустятся вниз. Вот спускаются. Гроыхает замок нижней входной двери. Тихо. Наконец то! Дрожа от волнения поднимаешь тюфяк — газета !!!..

Читалась ли когда-нибудь с таким трепетом {219} «Петербургская Газета» — это была она — на каком-нибудь пункте земного шара ?....

Чуть раскрыл — и сразу какой то холодный ужас пронизал всего насквозь. Номер был старый, середины декабря. На первой странице рисунок «к московским событиям». Артиллерия разносит дома, баррикады. Повсюду виднеются трупы и раненые. Другой рисунок «на Пресне». Обстреливаемый дом рушится, охваченный пламенем. Еще несколько в том же роде.

Что за московские события?! Очевидно там было восстание. Но неужели дошло дело до артиллерии?! В тексте отрывочные сведения из «усмирённой Москвы» и кое какие из других мест, охваченных восстанием. Дрожа при малейшем шорохе, боясь шевельнуть листом, жадно глотаешь газетные строки, весь горя от развертывающихся картин. Смертью

и ужасом веет от них! И жертвы — это видно уже и теперь — напрасны. Правительство побеждает. Петербург спокоен, очевидно, это только изолированное выступление....

Долго, бесконечно долго тянется мучительная ночь Снова вихрь, бушующий там, за стенами тюрьмы, подхватывает тебя и, как песчинку, несет и треплет. Снова камеры {220} наполняются грохотом битвы, лязгом мечей, едким дымом, тяжкими стонами ... пахнет кровью ... и трупы, трупы ! ... и все жертвы, только жертвы....

Под утро на прогулке, начали обсуждать, как устроиться с чтением. Читать по камерам — невозможно, так как жандармы непременно так или иначе накроют. Решили на-скоро, в углу большого огорода, где имеется навес, сбить из рам для парников род беседки. К тому времени нога уж сильно разболелась, — ходил с трудом, можно было оговорится, что беседку потому и устраиваем, что ходить неудобно, а хотим посидеть вместе.

Сбили, вышло на славу. Стекла там мутные, издали ничего сквозь них не видеть, что внутри делается. Это была наша лектория. Рассаживаемся кругом, лектор посредине, заслоненный со всех сторон облаченными в громадные тулупы слушателями.

Раздельно, но тихо, чтобы жандармы не подслушали, читаются захватывающая новости. Едва дышим. Под тяжестью развертывающихся событий головы опускаются все ниже и ниже. Порою прорывается не то вздох, не то сдавленный стон. Лица становятся бледные, глаза влажные, горло что-то сдавливает. Кончилось чтение. Тихо.

{221} Жутко. Веет смертью. Все молчат — страшно заговорить. Как у гроба дорогого покойника. Потом расходятся, и по узеньким дорожкам большого огорода, обутые в громадные валенки, угрюмо и молча, шагают «на прогулке» арестанты. Кругом все засыпано снегом, сплошными стенами окружающим дорожки.

С озера свищет буря, злобно и яростно завывая в клетках-огородах. Низко-низко несутся, точно громадные чудовищные птицы темные, грязно свинцовые тучи. В расщелинах стен, жалобно пища, притаились дрожащее всем своим маленьким тельцем воробушки. По стене, засыпанной снегом, укутанный в громадную шубу, как темное привидение, гулко шагает с винтовкой часовой, один нарушающий тишину каким то яростным выкрикиванием : «кто .. о идет .. е.. ет?»

Так же молча и угрюмо расходятся по камерам, и перед беспомощно лежащими на тюремных койках долго, долго проносится образ терзаемой правительственной вакханалией страны . . .

Легка борьба. В дыму, в огне битвы бойцы не замечают жертв. Впереди враг. И на этого врага устремлены все помыслы и чувства. Редуют ряды — они смыкаются и снова в бой.

{222} На могилах стоять некогда, — некогда павших считать.

Не то в неволе. Здесь во всем своем обнаженном ужасе выступают жертвы борьбы. Все мы выбыли из строя, когда борьба только начиналась. Каждая могила бойца была святыней и оплакивалась всей Парией. Теперь этих могил сотни, тысячи. Виселицы, расстрелы, карательные экспедиции.... все это казалось так дико, так чудовищно. Каждая жертва революции стоит, как живая, и этих жертв так много, что они заполняют собою все.

Мы ходили убитые, подавленные, внешне стараясь казаться беспечными, чтобы жандармы не заподозрили чего.

Но как связать сообщение нашего благоприятеля, жандарма, о скором освобождении с известиями о восстаниях и усмирениях? Очевидно, что-нибудь тут путает.

— Ну, что, на счет нас известно что-нибудь ?

— Да толком ничего не знаем, скрывают, анафемы! Только все разговор идет, будто вас освободят.

— Освободят?!

С одной стороны, газетные известия одно другого мрачней, одно другого зловещей, а с {223} другой стороны это ни с чем несообразное утверждение о скором освобождении, совсем перепутало все наши мысли и, заставляя прислушиваться к каждому движению, к каждому шепоту, держало все время в мучительном напряженном состоянии.

В средних числах января опять тревога в крепости. Снова какое то начальство

приехало. Нас заперли по камерам. Мы слышим, как начальство ходит по всей тюрьме, что-то меряют, что-то считают. Вечером до поздней ночи возились внизу в камерах-мастерских. На следующее утро мчимся в мастерские, — так и есть — все инструменты убраны и аккуратно сложены в одно место.

Сдают крепость по описи!!

Жандармы ходят понурые, тоскливые. От нескольких удалось вырвать признание: жандармам приказано подыскивать себе места: штат распускается; комендант и офицеры тоже хлопочут о местах. Но что же с нами будет?! Никто ничего не знает. Через несколько дней прочли в газетах указ об уничтожении Шлиссельбурга, как государственной тюрьмы. О нас ни слова.

Потом наш приятель раздобыл нам сведение: нас будто бы уже в первых числах {224} января должны были увести, но не решаются из-за аграрных беспорядков, да и места в тюрьмах нет. Пожалуй продержат здесь до весны. Повезут будто бы, не то в Архангельскую губернию, не то на Кару!! Нас так истомило это неопределенное положение, что рады были бы хоть в самый ад, только бы что-нибудь определилось.

Начальство все время не показывалось. 29-го января, в обед, вдруг является комендант со свитой.

— Ну вот укладывайтесь и вы теперь.

— Как? Куда? — делаешь вид, что ничего не знаешь.

— Крепость уничтожается. Вас всех переводят пока в Москву.

— А дальше?

— Пока ничего не известно. Вероятно в Москве вам придется посидеть некоторое время.

Комендант, очевидно, очень недоволен уничтожением Шлиссельбурга.

— Вот прокричали все газеты — застенок, застенок — ну, и докричались! А чем здесь плохо? Ни в одной тюрьме вам не будет так хорошо, соболезновал комендант о нашей участи.

— Ну, как-нибудь проживем, — язвили мы.

{225} Завтра вечером в дорогу! Опять странная «амнистия» — из Шлиссельбурга на каторгу.

Но волнение сильно охватывает нас : все же будет что-то другое, все же хоть и через решетку, а увидим вольный мир ! Каков-то он теперь? Сборы быстро кончились. Увезить назначено на завтра в 6 часов вечера. Прошла полная тревог и упорных дум о прошлом и невольных мечтаний о будущем, последняя ночь в Шлиссельбурге. К вечеру собрались все вместе и устроили в камере прощальное чаепитие.

Тени Александра III-го, Толстого и Плева, — как они в этот момент должны были скорбеть! В Шлиссельбургской камере «арестанты» вместе чай пьют и о падении самодержавия превратные толкования ведут!

Жандармы вынесли вещи. Явился комендант. Угрюм и сосредоточен. Мы вспомнили лучезарное настроение начальства в октябре, при увозе стариков, и невольно улыбнулись: видно революция то всерьез пошла и флиртование кончилось! — Пошли сетования о том, что «у нас ничего толком не может выйти», что «вот все, кажется было дано, а непременно нужно им сейчас же «республику по Карлу Марксу», что жить стало теперь невозможно, — того и гляди {226} бомбой тебя угостят и все такое прочее, в том же роде. Наши приятели жандармы, стоя позади коменданта на вытяжку, лукаво подмигивают нам: «кончилось, мол, беспечное начальческое житье»....

Вахмистр явился с докладом, что «все готово». Настает до известной степени исторически момент: последняя минута Шлиссельбурга. Мы облакаемся в большие тулупы и валенки и выходим на двор, весь запруженный жандармами. Направляемся к выходу. Гул шагов и звон шпор резко звучат под темными сводами ворот. Раздается какая то команда — ворота распахиваются. Все кругом засыпано снегом, — вдали чернеет Нева. У берега дожидается лодка с гребцами-жандармами.

Ярый зимний вечер. Черные, как расплавленный свинец, тяжелые волны (У крепости течение Невы такое быстрое, что она там никогда не замерзает.) лениво бьют о борт лодки. С темного мрака воды хмуро поднимаются засыпанные снегом стены крепости. Зловещая иоанновская башня.

— Вот глядите, тут налево, все и похоронены, — шепчет сзади жандарм.

Впиваешься глазами, ищешь каких-нибудь {227} следов, — ничего не видать: небольшой клочек земли между водой и стенами Иоанновской башни, засыпанный снегом. Под взмахами гребцов лодка быстро удаляется от крепости. Тяжелое гробовое молчание. Всякий про себя думает свою скорбную думу о прошлом этого скорбного места, о тех, чьи засыпанные снегом могилы остаются теперь одинокими в этом одиноком углу.

С воды поднимается тяжелый ледяной туман, все больше и больше окутывающей крепость. Виднеются лишь уже неясные контуры. Серая мгла застилает все и крепость сливается с этой мглой.

Шлиссельбурга нет....

Глава XIV.

На берегу нас ждут тройки, с веселым гиканьем в миг примчавшие нас к станции Ириновской дороги, Там дожидается уже экстренный поезд. Через полтора часа мы в Петербурге. Вся станция запружена шпионами и полицией. Вдали виднеются конные жандармы и городовые. У вокзала, на площади, пять карет, окруженных плотной цепью верховых. Мы рассаживаемся и под охраной эскадрона жандармов несемся на Николаевский вокзал.

{228} С трудом незаметно протираешь кружочек в замерзшем стекле кареты. Магазины открыты, но улицы пустынные. На перекрестках сильные наряды конной и пешей полиции. Ни живой души.

Охватывает какая-то жуть. «Мертвый город» Кое-где пугливо приоткроется дверь магазина и из нее с тревожным недоумением глядят люди на мчавшиеся под эскортом жандармов кареты.

Ни одного привета, ни одного возгласа. Где же она, восставшая Россия, где же он, мятежный Петербург?....

Примчали на товарную станцию Николаевской дороги. Там военные полковники и генералы, жандармские полковники и генералы, полицейские полковники и генералы и шпионы, шпионы — без конца. В дальнем углу станции приготовлен арестантский вагон. Нас вместе с жандармской охраной ввели туда и часа два продержали на запасном пути.

Потом, когда вагон прицепили к поезду и подали к станции, обилие жандармов, очевидно, привлекло внимание публики. На площадках вагона смежного поезда показались рабочие картузы, студенческие фуражки, замелькали сочувственные лица. Но «беспорядок» был вскоре замечен, явился патруль и водворил спокойствие и тишину.

{229} Поезд тронулся, сопровождавшие нас офицеры, проверив посты, ушли к себе в купэ. Конвоировали нас шлиссельбургские жандармы — 12 унтеров. Отношения у нас с ними были хорошие. Нам предстояло провести вместе последнюю ночь.

И это была удивительная ночь, полная глубоких неизгладимых впечатлений.

— Надо бы правовой порядок то спать уложить, — говорит один унтер другому.

— Какой правовой порядок? — спрашиваем мы.

— А это, значит, мы на партии так делимся, — лукаво отвечает унтер. — Наша компания — это левые, а те — «правового порядка».

— Верноподданные?

— Во-во! Просто сволочи!

«Правовой порядок», как и подобает истинно русским людям, веселие коих есть пити и ести, засели за трапезу, а вскоре разлегся в смежном отделении, громким храпом свидетельствуя преданность свою «престол-атечеству». Караул заняли «левые»....

Часа два ночи. В закопченном фонаре тускло горит свеча, едва освещая контуры

вагона. Поезд, пыхтя и громыхая, несется по {230} снежной равнине. Мы все — арестанты и они — конвойные жандармы, сбившись в одну кучу, тесно прижавшись друг к другу, растроганные, взволнованные, шепотом, тревожно оглядываясь на дверь, ведем «запрещенную» беседу. Жандармы открывают нам тайны Шлиссельбурга.

То, чего они не решались касаться там, в Шлиссельбурге, они торопятся передать нам в эту последнюю ночь. Это была удивительная сцена, — эти многочасовые разговоры с блестящими глазами, с дрожащим от волнения голосом. Все казни, все смерти, всё пытки прошли перед нами в рассказах очевидцев.

Вот что, между прочим, удалось узнать о Качуре. Он прибыл в Шлиссельбург бодрый, здоровый, веселый. Через некоторое время потребовал работы в мастерской. Когда ему отказали, указывая, что первое время заключенные должны проводить в полном одиночестве и бездействии, он заявил, что заставит выполнить его требование, и объявил голодовку. Прошло дней шесть. Видя его упорство, жандармы сдались и в одной из камер устроили для него мастерскую.

Это было в апреле 1903 года. Качура работал с увлечением. Месяца через два завязывается интрига совершенно непонятного свойства. К сожалению, сами жандармы знают {231} о ней в самых смутных чертах. Вот что им известно.

В июне месяце, в одну из суббот, когда Качуру повели в баню, в камере дежурный жандарм, по обыкновению, произвел обыск. Где-то была обнаружена запрятанная записка, будто бы от моего имени к нему, Качуре (Само собою разумеется, никакой записки я Качуре не посылал. Если записка действительно была ему доставлена, то это дело рук департамента полиции или Трусевича. Содержание записки напрашивается само собою и все дальнейшее становится понятным.). О чем говорилось в записке, они не могли допытаться. «Найденная» записка была представлена коменданту. Вскоре после этого комендант явился к Качуре и, выслав жандармов, заперся с ним наедине. О чем был разговор, — они не знают. Комендант оставался часа два. Через несколько дней разговор при такой же чрезвычайной обстановке повторился.

Настроение Качуры сразу изменилось. Он стал сосредоточен, угрюм. Через некоторое время в Шлиссельбург прибыл какой-то судейский (по описанию Трусевич). Он поместился в какой-то комнатке у манежа (очевидно, избегая канцелярии, так как проходящие туда видны заключенным в новой тюрьме и всем живущим {232} в крепости). В 12 часов дня, когда сменяется караул, Качуру переодевали в жандармскую форму и вместе со всеми унтерами он проходил через тюремный двор к приезжему судейскому. Всем строго на строго приказано было удалиться и близко не подходить. Беседа тянулась целый день. О чем говорилось, — не смотря на то, что все были крайне заинтригованы, — никто не знал. Офицеров и коменданта тоже не допускали.

Это в течение июня-июля повторилось несколько раз, пока Качуру вдруг неожиданно для всех них не увезли в Петропавловскую. Через некоторое время его привезли обратно. Он вернулся совершенно подавленным и в таком состоянии находился до зимы, когда его уже окончательно увезли. С жандармами не разговаривал, почти не отвечал на вопросы, бросил работать в мастерской, перестал читать книги, даже от прогулок часто отказывался. В камере на столе остались некоторые надписи, говорящие о каком-то душевном надломе. Так, в одном углу выцарапано : «погибло все, чему я в жизни поклонялся»... «душа пуста, душа мрачна»... «о, думы, думы, надежды и желания, погибли вы !»... и проч. все в том же роде. Вот все, что удалось узнать о нем.

{233} Все они присутствовали при казнях в Шлиссельбурге и вот что они рассказывают о последних минутах казненных. Их рассказы, как очевидцев, следует считать единственно верными и совершенно уничтожающими многочисленные рассказы охочих людей, вроде фантастического кающегося жандармского офицера, поместившего свои фельетоны, полные лжи и вымыслов, на страницах Русских Ведомостей.

Степана Балмашева привезли утром, часов в 10 и провели в канцелярию. Держал себя твердо, спокойно. Не доходя канцелярии, увидав новую тюрьму, начал размахивать шляпой. Днем пил чай и обедал. Вечером его провели в старую тюрьму и поместили в одной из камер, недалеко от камеры, где уже под замком сидел палач.

— Когда нужно будет, не забудьте меня разбудить, с усмешкой сказал Ст. Вал. дежурному и лег спать.

Часа в 4 утра в его камеру явился товарищ прокурора окружного суда «со свитой». Балмашев спал и его долго не могли добудиться. Наконец приоткрыл глаза и досадливо спрашивает.

— Ну, что? Чего вам там нужно?

— Вы такой-то?

{234} — Я!

— Вам известно, что вы приговорены с. петербургским военно-окружным судом в смертной казни ?

— Известно.

— Приговор вошел в силу и сейчас будет приведен в исполнение.

— А, да ! Ну, хорошо, хорошо !... Опять лег на подушку, закрыл глаза и как бы заснул. Его снова разбудили.

— Да вставайте же ! Уже все готово !

— Хорошо, хорошо ! Вот сейчас ! Снова ложится. И так несколько раз. Наконец приподнялся и с усмешкой говорит:

— Так вставать? все готово? Ну, вставать, так вставать!

Он оглядывает камеру. Перед ним в вице-мундире представитель закона — прокурор. Дальше — исполнитель закона, палач Филиппев. Он весь с ног до головы в красном: красная шапка, красная блуза, красные шаровары. В одной рук веревка, в другой плеть. Лицо зверское — серое, одутловатое, с мутными налитыми кровью глазами. Он подходит вплотную к своей жертве, поднимает над головой плеть и рычит : «руки назад! Запорю при малейшем сопротивлении!»....

{236} Веревкой скручивают руки и процессия направляется из камеры в маленький дворик, между крепостной стеной и старой тюрьмой — у иоанновской башни. Там уже «все готово». Эшафот, тут же вырытая яма, у нее черный ящик-гроб. Дворик наполнен начальством и жандармами. Балмашева вводят на эшафот. Секретарь суда читает приговор. На эшафот поднимается священник с крестом. Ст. Вал. мягко отстраняет его: — «к смерти я готов, но перед смертью лицемерить, батюшка, я не хочу».

Место служителя бога занимает служитель царя — палач. С. В. стоит прямо и спокойно, со своей вечной слегка грустной, слегка насмешливой улыбкой на устах.

Палач накидывает на голову капюшон савана, затем петлю. Ударом ноги вышибает доску, тело грузно падает вниз. Раздается глухой стон. Веревка натягивается и трещит. Тело вздрагивает и передергивается конвульсиями. Ноги упираются в помост — смерть идет медленно. Палач крепко обхватывает тело и с силой дергает вниз. Присутствовавших охватывает ужас. Жутко, гадливо, стыдно. Раннее ясное утро. Солнце только что поднялось и его мягкие золотистые лучи бьются о перекладыны виселицы. Кругом свежая яркая {236} зелень. Птички весело чирикают, с озера доносится писк чайки. А люди в мундирах, с орлами на пуговицах, угрюмо стоят, потупив глаза, бледные, взволнованные и ждут, пока тело, облеченное в саван и повисшее на веревке, перестанет вздрагивать. Ждут долго — бесконечно долго — до получасу.

Палач принимает в свои объятья тело, обрезывает веревку, кладет труп на помост. Подходит доктор, слушает сердце — все в порядке: сердце не бьется. Труп кладут в ящик, обсыпают известью, покрывают крышкой. Удар молота злобно прорезывает утренний воздух: то прибивают крышку гроба. Ящик опускают в вырытую тут же яму, засыпают подравнивают с землей и медленно, стыдясь глядеть друг другу в глаза, расходятся. Царское правосудие свершилось. Тюрьма в это раннее утро не спала. Появление Степана Балмашева было замечено. Было замечено также, что на дворик старой тюрьмы сколачивают что то из досок.

Эшафот строят — прожгло всех. Всю ночь стояли у оконных решеток. Видели, как под утро в старую тюрьму прошло начальство. Через час в церковный садик из старой тюрьмы прошел старик священник.

{238} Согнутый, жалкий, еле передвигая ноги, беспомощно опустился на скамейку, склонив голову в упирающиеся в колени руки. Через некоторое время чуткое ухо Антонова услышало отдаленный звук. Опытный кузнец различил удар молота о железный гвоздь и в тюрьме все стало ясно!

Почти ровно через три года произошла вторая казнь — И. П. Каляева. Об этой казни уже много писалось, и в общем она описана верно. Палачом был тот же Филиппев. По описанию жандармов это удивительное создание. Был когда то офицером, совершил какое-то невероятно гнусное преступление, был приговорен к смертной казни, но за готовность быть палачом политических — помилован. Для Балмашева долго искали палача, пока, наконец, не напали на Филиппева, сидевшего тогда в какой то кавказской тюрьме. Его под конвоем доставили в Шлиссельбург.

Все время, в ожидании исполнения своих обязанностей, большими стаканами пьет водку. Образ совершенно звериный. И этот человек, не смотря на то, что получает за каждый «выезд» по 100 руб., невероятно тяготится своими обязанностями. По службе быстро теперь повышается. На казнь Каляева приехал уже под охраной **{238}** одного только жандарма, а через несколько месяцев, — на казнь Гершковича и без всякой охраны: заслужил доверие власти.

Маленькая, почти невероятная подробность: после казни Каляева Филиппев начал ходить в офицерском мундире, с георгием в петличке. В таком виде он прибыл в сентябре на казнь Гершковича, крайне смутив жандармов. Это — невинная слабость «старика», на которую доброе начальство смотрит сквозь пальцы. Филиппев просил разрешить ему это «единственное утешение» и начальство решило выполнить просьбу полезного человека. Офицер, с георгием в петличке, приезжает в крепость с маленьким узелком, в котором увязан его настоящей мундир — красное одеяние, плеть и веревка.

И. П. Каляева привезли не в канцелярию, а в приемную, в манеж. Там он пробыл целый день. Долго ходил взад и вперед по комнате, потом сел писать. Исписал целый лист бумаги, но после некоторого размышления облил чернилами и изорвал. Потом лег на койку. Его знобило. Он попросил чего либо теплого накрыться, заметив жандармам: вы не думайте, что я дрожу в ожидании смерти — мне просто холодно....

СТРАНИЦ 239 – 240 В НАШЕМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ КНИГИ НЕТ!

ldn-knigi.narod.ru

(далее о казни Гершковича):

{241} Стоя в саване, он спокойно слушал томительное чтение приговора. Когда оно кончилось, он, точно с трибуны, окинул всех презрительным взглядом и сказал: «вы собрались смотреть, как я буду умирать? Смотрите, — я спокоен ... я умираю за свободу ...»

— Палач, кончать ! — крикнул комендант.

Произошло замешательство. Обращения с эшафота никто не предвидел, а допустить такое отступление в ритуале нельзя было. Палач накинул капюшон, потом петлю, выбил доску, раздался не то крик, не то стон, и тело в саване закачалось. Оно билось долго. Особенная ли жизненность молодого организма, или петля опять была плохо накинута, но когда Гершковича через 30 минут вынули из петли, в нем еще теплилась жизнь. Крепостной врач, подойдя к трупу и выслушав сердце, конечно сделал знак, что «все благополучно» — можно хоронить! Но когда начальство удалялось с места казни, жандармы слышали, как врач говорил коменданту: «собственно говоря, сердце еще слегка билось».

Это «собственно говоря» — бесподобно по своей этической наивности.

Странно, ни одна казнь не произвела на жандармов такого потрясающего впечатления, как **{242}** казнь Гершковича. Было что то особенное в этом юноше, которого они иначе не называли, как «герой». Особенно их потрясли его слова с эшафота. Все

передавали эти слова с той же удивительной точностью: очевидно они глубоко врезались в эти простые души... Ночь надвигалась все дальше и дальше, поезд громыхал, а мы с затаенным волнением жадно вслушивались в скорбную повесть шлиссельбургской летописи.

Выяснилась любопытная подробность. Сейчас же после нашего процесса, очевидно после бесплодного посещения Макарова, в Шлиссельбург получилась телеграмма с приказом поставить виселицу. Дело потом повернулось иначе. Казнь почему то была отменена, но об отданном распоряжении забыли. Виселица простояла больше полугода, и ее сняли уже после того, как перевели в Шлиссельбург....

Глава XV.

Часов в пять утра караул сменился. На дежурство стал «правовой порядок» и мы могли кое как расположиться на отдых.

Когда начало рассветать, мы бросились к засыпанным снегом окнам вагона : какова то она {243} «новая Россия»? Мертво, пустынно, безлюдно. Настал день. Ужасом давил вид проезжаемых станций. Нигде ни живой души. Сторожа какие-то запуганные. Жандармы с винтовками за плечом и солдаты с примкнутыми штыками. Точно в завоеванной стране, занятой еще неприятельскими войсками! Такой ли мы рисовали себе восставшую страну ! Чем дальше к Москве, тем меньше жизни и больше солдат! Попадались драгуны, казаки. Видно, что желание нагайки — здесь высший закон.

Что-то нас ждет там в пересыльной тюрьме? В Шлиссельбурге мы сжились; начальство скандалов не хотело, и жизнь с этой стороны текла мирно. По существу мы лишенные прав, каторжане. Начальству может заблагорассудиться показать над нами свою власть, это значит — бесконечная упорная война. Мы сговорились на первых же порах отстаивать свое положение, войны не вызывать, но если администрация ее вызовет, — не сдаваться и идти последовательно до конца.

К вечеру приблизились к Москве. Наш вагон отцепили и отвели на какой то другой путь. Через некоторое время явился жандармский полковник с офицером; у полотна ждал целый эскадрон. Наш караул запротестовал: они {244} де имеют приказ сдать только тюремному начальству, в здании самой тюрьмы. Долго велись переговоры, пока порушили на том, что эскадрон отправится к тому месту, где мы будем высаживаться, и будет эскортировать нас, а в каретах повезет шлиссельбургский конвой.

Долго возили вагон взад и вперед, потом повезли по какой то ветке. Остановились. Слышны свистки, команда, ржание лошадей. После бесконечной возни, проверки, наконец предложили выходить: каждый арестант с одним офицером и двумя унтерами. Вышли. Чистое поле, засыпанное снегом. Вдали дорога. Там кареты. От вагона до кареты сплошная шпалера полиции и конных жандармов, вооруженных винтовками. Уселись в кареты, окруженный тесным кольцом верховых и куда-то понеслись. Ехали долго. Наконец въезжаем в какие-то железные ворота, к подъезду, залитому электричеством.

Тут тоже бесконечная полиция, какие-то офицеры, штатские. Вводят в какой-то громадный, сводчатый не то зал, не то сарай. Это, оказывается, так называемая сборная Бутырской тюрьмы. Полумрак, грязные, запыленные стены. Избитый каменный пол. По углам валяются кандалы. Вдоль стен скамейки. Под охраной {245} нашего шлиссельбургского конвоя мы заняли место в углу. Расселись, невольно плотнее держась друг друга. Начались бесконечные формальности приемки.

Наш офицер ведет переговоры с начальником тюрьмы.

— Камеры приготовлены?

— Да, конечно, по телеграмме.

— Общие?

— Нет, секретные.

Для начала недурно! Значит, они нас здесь будут держать в одиночках!

— Вещи сдадите им на руки?

— Нет, пока все останется в цейнгаузе, кроме подушки и халата. Там потом видно будет.

По-видимому, нас собираются здесь скрутить! Мы наскоро шепотом сговариваемся о «линии поведения» и невольно становимся в боевую позицию. Атмосфера напряженная. Приемка кончилась. Дежурный расписался в получении пакета и пятерых арестантов.

Шлиссельбургские офицеры издали с нами попрощались; мы ответили им довольно холодно. Шлиссельбургский конвой должен был нас теперь передать бутырскому. Жандармы окружали нас полукругом. Хотелось с ними, особенно {246} с «левыми», распрощаться тепло, но мы боялись подводить их и сидели, угрюмо насупившись. Офицер скомандовал расходиться и тут произошла сцена, глубоко нас взволновавшая. Все двенадцать унтеров звякнули шпорами и взяли перед нами под козырек, громко, отчетливо гаркнув: «счастливо оставаться!» Мы приветливо сняли шапки и крикнули им : «до свиданья, до свиданья!» Конвой весь, как по команде снял шапки и низко нам поклонился, — «не поминайте лихом!»

Шлиссельбургское и бутырское начальство вытаращило глаза и с недоумением смотрело на эту неожиданную манифестацию. Старший скомандовал: «полуоборот направо, марш!» Двинулись по шеренге, по несколько раз оборачивались в нашу сторону и махали шапками. Мы отвечали им тем же. Уже у самых ворот они еще раз обернулись, сняли шапки и прокричали: «счастливо оставаться !» Мы замахали им в ответ красными шлиссельбургскими платками.

Нас принял дежурный офицер и повел тюремным двором в наше помещение. Было часов двенадцать ночи. Тюрьма уже спала. Прошли бесконечно длинный двор, отперлись одни ворота, потом другие железные.

— Куда нас ведете? — спросили мы офицера.

{247} — В пугачевскую башню. Вы будете там одни.

— Во всей башне?! Ведь она на сорок человек.

— Кроме вас там никого не будет.

Открылась маленькая железная дверь и по винтовой железной лестнице екатерининских времен нас развели по камерам.

Камеры узкие, длинные, полукруглые. Освещается только один угол. Вся камера утопает во мраке. Пол каменный. Грязь невероятная. Напоминает старый запущенный подвал. По стенам стоят широкие лавки, на них мешки с соломой — это койки. Воздух спертый, душливый. В углу параша.

Рассадили по всем трем этажам. Тихо и зловеще.

«Будет буря», выстукивают в верхнем этаже.

«И поборемся мы с ней!» отвечают снизу.

Где-то бьет полночь....

Конец.